

Русская речь

Научно-популярный журнал

Института русского языка Академии наук СССР

Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год

Издательство «Наука». Москва

№ 2 1971 март—апрель

Навстречу XXIV съезду партии	3
И. К. Белодед. Проблемы изучения языка В. И. Ле- нина	8

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Н. И. Прокофьев. Язык и жанр	16
А. М. Гладилова. Стилъ «Вешних вод» И. С. Тургенева	26
Л. М. Шелгунова. «Если» — «коли» в повести «Барышня-крестьянка»	33
В. Л. Ковалев. Толстовские «чуть-чуть»	38
С. И. Котков. Художественные средства и языковая ситуация	45
Т. А. Сумникова. Преданье старины глубокой?	53

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

Алексей Марков. Радость через страдание	58
Игорь Кобзев. Слово в эфире	61

КУЛЬТУРА РЕЧИ

А. Г. Мурашко, Г. В. Попова. Изучение русского языка в Белоруссии	70
В. А. Ицкович. Современные аббревиатуры	74
А. И. Мойсеев. Следующая остановка — Пушкинская площадь (Витебский вокзал)	80

УДАРЕНИЕ

В. Л. Воронцова. Расположенный и расположенный	84
--	----

ЯЗЫК ГАЗЕТЫ

В. Я. Дерягина. Стилль «Советской Сибирп»	89
---	----

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

А. А. Китлов. Русь в исландских сагах	97
Н. М. Дылевский. «Письмовник» Курганова в Болгарии	104

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

А. С. Львов. Как изучается история отдельных слов	110
А. М. Норданский. Хозяин	115
Ф. П. Сергеев. Посол	121
В. И. Максимов. Знаете ли вы слова песни? . . .	125
И. С. Козырев. Хоть пруд пруди	129
В. Т. Ванюшечкин. Ковыль	132
М. Ф. Мурьянов. Название Передвицкой церкви . .	135
Г. Н. Луккина. Названия обуви в древнерусском языке	137

ПО КАРТЕ РОССИИ

А. К. Матвеев. Волга, Кама	140
--------------------------------------	-----

КОНСУЛЬТАЦИИ

144

НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ РЫБ

144

НОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

146

*На обложке
гравюра Ю. И. Космынина*

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*

НА ВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Очередной XXIV съезд КПСС советский народ встречает ударным трудом, досрочным выполнением пятилетнего плана, новыми победами на всех участках коммунистического строительства. Как всегда в дни важных событий, советские люди обозревают путь, пройденный под руководством Коммунистической партии. Путь этот отмечен большими достижениями нашей науки, многими победами в культурной революции, созданием подлинно народной социалистической культуры.

Советское языкознание, наука о русском языке, продолжающие передовые традиции дореволюционной русской филологии, имеют в Стране Советов чрезвычайно благоприятные условия для своего развития. За годы Советской власти нашими лингвистами созданы многотомные и небольшие по объему массовые словари, фундаментальные описания грамматического строя различных языков, атласы говоров, труды по истории языков и наречий. Связь с жизнью, с повседневными нуждами культурного строительства в стране, неразрывное единство в применении марксистско-ленинской методологии с другими общественными науками, прежде всего с историей народа — таковы наиболее общие характерные черты современного советского языкознания.

Важнейшим достижением в создании социалистической культуры явилось развитие языков народов нашей страны. В условиях советского общественного строя произошли огромные изменения в жизни равноправных языков народов СССР, накоплен большой опыт советского языкового строительства. Из 130 языков наций и народностей нашего многонационального государства в советский период получили письменность около 50 ранее бесписьменных языков.

Возросла роль русского языка как языка межнационального общения. Будучи могучим орудием развития национальной куль-

туры русского народа, он в то же время служит источником обогащения культуры всех других народов Советского Союза.

Блестящий образец страстного партийного и патриотического отношения к языку мы находим в творческом наследии великого Ленина. Отмечая, что «язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч» (Полное собрание сочинений. Т. 24, стр. 294), В. И. Ленин не раз подчеркивал значение русского языка для повышения культуры всех народов России. Владимир Ильич ратовал за то, чтобы «каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку» (там же, стр. 295), ибо видел в этом языке мощное средство распространения революционных идей и передовой русской культуры.

В труднейшие годы, когда молодая Республика Советов решала первостепенные военные и хозяйственные вопросы, от которых зависели судьбы революции, В. И. Ленин обращает внимание партии, комсомола и государственных органов на сугубо мирные, но также неотложные дела: он призывает молодежь учиться коммунизму, овладевать богатствами культуры, накопленными человечеством, говорит о настоятельной необходимости культурного воспитания революционных народных масс. 28 декабря 1919 года опубликован декрет Совнаркома о ликвидации неграмотности, которым было положено начало проведению культурной революции в нашей стране. В те же годы В. И. Ленин предпринимает важные шаги по немедленной организации работы над массовым толковым словарем русского языка «от Пушкина до Горького» и пишет известную записку «Об очистке русского языка» — страстный призыв беречь родной язык от коверканья, порчи и безграмотности.

Во всех этих предприятиях, связанных с личной инициативой Владимира Ильича, проявилась его гениальная прозорливость в определении великой роли русского языка, которую ему предстояло сыграть в преобразованном пролетарской революцией мире.

Эпоха победившего социализма создает предпосылки для невиданного расцвета национальных языков Советского Союза, современного русского языка, который по праву называют языком братства народов СССР. Русский язык, взаимодействуя с другими языками, испытывает на себе их влияние в области развития, пополнения и обогащения своего словарного состава. В то же время сам русский язык, щедро обогащая языки остальных народов, служит неисчерпаемым источником развития языков многочисленных народов нашей страны. Таким образом установилось гармоничное сочетание интернациональных и национальных особенностей

в развитии русского и других языков СССР в период перехода от социализма к коммунизму. Процессы дальнейшего развития социалистической культуры протекают в нашей стране в условиях братской дружбы народов и содружества их языков.

«Современный русский язык,— говорил на учредительной конференции Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в 1967 году академик В. В. Виноградов,— представляет собой своеобразное, самобытное явление в истории мировой культуры. Происходящие в нем процессы полны исторического значения и ярко отражают творческую мощь русского народа. В советскую эпоху он становится наиболее рельефным выразителем новой социалистической государственности и идеологии, передовой науки и техники, могучей экономики».

Совершенно естественно поэтому, что в наши дни встают задачи изучения и научной нормализации русского литературного языка, повышения культуры устной и письменной речи в их разнообразных жанрах, пропаганды лингвистических знаний в широких массах трудящихся.

Правильная, научно обоснованная деятельность в области культуры русской речи состоит в том, чтобы развивать и пропагандировать богатейшую национальную книжно-письменную традицию и в то же время не допускать отрыва литературного языка от животворящих истоков народной речи на нынешнем этапе ее развития.

Литературный язык представляет собой обработанный и нормализованный язык нации. Сознательное упрочение его норм необходимо для лучшего исполнения им своей роли связующего звена поколений, на нем говорящих. Устойчивость литературного языка во времени создает возможность формирования единой мощной многовековой национальной культуры — от Пушкина и его прямых предшественников до Горького и современных лучших советских писателей. Вместе с тем устно-разговорная стихия постоянно и во все времена пополняет литературную речь образностью, меткостью, художественной точностью и выразительностью. Из живой и образной народной речи литературный язык, и в первую очередь язык художественной литературы, извлекает новые силы, обновляется и развивается как важнейшая форма национальной культуры.

Примером описания богатств словарного состава языка может служить «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах, составленный коллективом советских словарников-русистов. Эта работа получила высокую оценку партии и правительства — в минувшем году за создание Словаря была присуждена Ленинская премия в области науки и техники группе языковс-

дов-русистов: академику С. П. Обнорскому, членам-корреспондентам АН СССР С. Г. Бархударову, Е. С. Истриной, Ф. П. Филину, В. И. Чернышеву, доктору филологических наук А. М. Бабкину.

Изучение истории языка в связи с историей народа, обращение к самым истокам языка русской народности и нации составляют славную традицию отечественного языкознания. Примечательно, что и в наши дни все более широкий размах приобретают работы, посвященные описанию и публикации памятников старой письменности, материалов живых народных говоров.

Примером может служить участие языковедов в расшифровке и изучении драгоценнейших памятников древнерусского народно-разговорного языка — новгородских берестяных грамот, честь открытия которых принадлежит коллективу археологов и историков Новгородской археологической экспедиции, возглавляемой членом-корреспондентом АН СССР А. В. Арциховским. В минувшем году за открытие и исследование памятников истории и культуры древнего Новгорода группа советских ученых удостоена высокой награды — Государственной премии в области науки и техники. В числе лауреатов — исследователь языка грамот на бересте член-корреспондент АН СССР В. И. Борковский.

Важной составной частью культурного строительства в нашей стране является развитие народного образования. Строительство нового общества предполагает повышение идейно-политического уровня и расширение научного кругозора советских людей, воспитание всесторонне развитой личности. Немалая роль в этом принадлежит совершенствованию преподавания русского и других языков в школе.

В последние три-четыре года проведен ряд мероприятий, направленных на пересмотр всей структуры средней школы и содержания образования в ней с учетом требований жизни и современного состояния науки; проделана большая работа по созданию новых программ и учебников. Это важное дело наших учителей и методистов, ученых — специалистов различных областей науки. Активное участие принимают в нем и языковеды.

На страницах журнала «Русская речь» обсуждаются вопросы преподавания родного языка в школе (1969, № 2, 3, 4, 6; 1970, № 2, 3, 4). Следует сказать, что работа в этой области предстоит еще немалая и в ней заинтересованы все слои нашего общества.

Важность задач улучшения преподавания языков в школе вытекает из положений Программы КПСС. В этом документе определены состояние и перспективы развития национальных языков народов СССР, а также указано, что Коммунистическая партия ставит своей задачей «обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражда-

нина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении тех или иных языков. В условиях братской дружбы и взаимного доверия народов национальные языки развиваются на основе равноправия и взаимообогащения» (Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1964, стр. 115).

Ныне русский язык — один из важнейших мировых языков, средство межгосударственного общения, один из пяти официальных рабочих языков ООН.

В наше время изучение русского языка в зарубежных странах стало объективной закономерностью. Русский язык — это язык передовой науки и техники, язык всемирно признанной художественной литературы, язык новой социалистической государственности, язык великого Ленина. По данным ЮНЕСКО, русский язык преподают в высших учебных заведениях около 60 стран, в средних школах около 40 стран. Систематическое преподавание русского языка ведется также на различных курсах и в многочисленных кружках, созданных союзами обществ дружбы при культурных центрах или при институтах культурного обмена.

Растущее с каждым днем распространение русского языка по всем континентам современного мира объясняется великой исторической ролью нашей страны и тем огромным вкладом в развитие общечеловеческой культуры, который сделан русским народом в тесном содружестве с другими нациями Советского Союза.

По официальным данным, на русском языке могут говорить сейчас 176 миллионов человек за рубежом, а изучают его, хотя бы знать и интересуются им около полумиллиарда людей. Русский язык широко изучается в братских социалистических странах. Он уверенно находит дорогу в развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки, где с ним часто связываются надежды народов на национальное возрождение, социальный прогресс и на бескорыстную экономическую и культурную помощь.

Изучение, сбережение и дальнейшее творческое развитие и обогащение национального русского языка — общая забота писателей, учителей, ученых — всех патриотов, верных сынов нашей Родины.

Не может быть сомнения в том, что работники науки и просвещения справятся со стоящими перед ними задачами, достойно встретят XXIV съезд КПСС, примут активное участие в претворении в жизнь планов, которые наметит съезд на будущее.



ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА В. И. ЛЕНИНА

Русский язык Ленина — это язык Великой Октябрьской социалистической революции, которая говорила и продолжает говорить на всех языках мира. Слово Ленина воплощено во всех языках мира в их национальном речевом своеобразии и в общечеловеческом образе могучей ленинской мысли. Выслушав речь В. И. Ленина на III Всемирном конгрессе Коминтерна (1921), Клара Цеткин сказала ему: «Я могу сравнить Ваше искусство говорить только с одним — с великим искусством Толстого. У вас та же крупная, цельная, законченная линия, то же непреклонное чувство правды. В этом — красота. Может быть, это специфическая отличительная черта славянской натуры» («Воспоминания о В. И. Ленине». Т. 2, М., 1957, стр. 471).

Многогранность, необозримое богатство языка В. И. Ленина, культура его речи основана на широком фундаменте высоких достижений русского языка, а также языковых ценностей, выработанных классическими (латинским и греческим) и европейскими языками (немецким, английским, французским, итальянским). Когда Ленин начинал работать над какой-либо статьей, книгой, выступлением, он обычно пользовался литературой на многих языках, в частности разнообразными словарями — русскими, украинскими, иностранными. Вот, например, одна из его записок, направленных в Румянцевский музей, с просьбой выдать следующие книги: «...два лучших словаря греческого языка — с греческого на немецкий, французский, русский или английский; лучшие философские словари; словари философских терминов на немецком, французском, английском и русском языках и книги Целлера и Гомперца по истории греческой философии» («Новый мир», 1968, № 10, стр. 10). Русский речевой стиль Ленина в широком

смысле этого понятия связан с языковыми традициями революционных демократов: Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, с их воинствующей направленностью и прямоот, страстностью их слова, высказывания. Ленина всегда восхищало высокое художественное мастерство Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Гончарова, Л. Толстого, Тургенева, Помяловского, Короленко, Чехова и других русских писателей, которых Ленин часто цитировал, образность творчества которых нашла глубокое отражение в его языке и стиле.

Владимир Ильич резко критиковал казенный стиль «официальной» науки, публицистики и деловой письменности, оторванный от народа, не понятный и чуждый ему; вместе с тем он знал и ценил научный стиль работ Г. В. Плеханова, В. О. Ключевского, М. Н. Покровского, судебное красноречие А. Ф. Кони и других выдающихся общественных деятелей, которые также оказывали большое влияние на развитие стилей русского литературного языка в конце XIX — начале XX века.

Исследователи отмечают, что в отношении к слову Ленин был «также аскетичен и суров, как Толстой». «Если поставить его стиль,— пишет Б. Эйхенбаум,— на фоне того пышного философского и публицистического стиля, который господствовал в русской интеллигенции начала XX века (Вл. Соловьев, Мережковский, Бердяев и т. д.), то разница станет особенно ясной».

Французский писатель Жан Фревилль в книге «Ленин в Париже» подчеркивает большое значение для революционного дела языка Ленина. Находясь в Париже в 1895 году, В. И. Ленин посетил Поля и Лауру Лафаргов. Обсуждались вопросы пропаганды марксизма среди рабочих. Лафарг отметил, что пропаганда трудов К. Маркса среди французских рабочих связана с определенными трудностями в связи со сложностью стиля Маркса. В. И. Ленин это глубоко понимал. «И в первых своих выступлениях в кружках Санкт-Петербурга,— отмечает Жан Фревилль,— он осудил поведение некоторых интеллигентов, которые замыкаются в книжной культуре и остаются чуждыми пролетариату. С рабочими он рассматривал вопросы, которые их особенно волновали, избегал трудных для понимания выражений...» (см. журнал «Вітчизна», 1969, № 10).

Ленин сумел найти тот русский стиль научной пропаганды, который позволил ему соединить в сознании рабочих конкретные факты с теоретическим анализом. Весь этот комплекс проблем языка и истории — весьма важный и интересный объект исследований для языковедов, историков, социологов.

Творчество Ленина — мощный фактор новаторства и преобразования политического, научного, публицистического, делового,

ораторского, агитационного и эпистолярно-делового стилей русского литературного языка. Влияние его распространилось не только на языки народов СССР, но и на языки народов мира. Характерными чертами этого новаторства явилось органическое сочетание в едином сплаве достижений всех стилей высокоразвитого литературного языка с широкой основой народно-разговорной речи прежде всего в области революционного действия, повышения сознательности масс, мобилизации их на активное творчество, приобщение их к ценностям науки и культуры.

Глубокую характеристику речевого стиля Ленина как новатора русского языка дал А. М. Горький. Речь Ленина, по его наблюдениям, была рассчитана не на внешний эффект, а на динамику мысли, обнажение ее сути, на лаконизм и логику изложения, на понятность ее для любой аудитории. «Первый раз слышал я,— пишет А. М. Горький,— что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл» (М. Горький. В. И. Ленин. М., 1968, стр. 15). Его «сильный жест,— пишет Горький,— вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью». «Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды». Отвечая на враждебные выпады, «говорил он горячо, но веско, спокойно» (там же, стр. 38, 17).

Примером непревзойденного умения В. И. Ленина о сложном сказать просто, ясно, четко — при этом не опрощая сложного! — является знаменитая работа «К деревенской бедноте» [подробнее об этом см.: П. М. Фесуненко. Научно-популярный стиль В. И. Ленина.— «Русская речь», 1969, № 6.— *Примеч. редакции*].

Стиль классической ясности и логики присущ и работам В. И. Ленина философского, экономического и научно-политического характера, таким, например, как «Материализм и эмпириокритицизм», «Развитие капитализма в России», «Государство и революция» и другие, хотя овладение смыслом этих произведений предполагает определенную подготовку.

Как известно, одним из требований к стилю, неоднократно повторяемых в высказываниях В. И. Ленина, к стилю агитатора и пропагандиста, стилю научной литературы является ясность и четкость синтаксических конструкций, отсутствие длинных периодов, «клубков фраз» и т. д. Но это не значит, что Ленин был вообще против сложной, но стройной фразы там, где она необходима, то есть в научных трудах, профессионально рассматривающих сложные вопросы.

В этом смысле весьма характерны следующие суждения В. И. Ленина, высказанные в работе «Империализм, как высшая

стадия капитализма»: «Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма... Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подытоживают главное, — все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков...» (Полное собрание сочинений. Т. 27, стр. 386).

Сам Ленин тонко чувствовал границу между научным стилем и «агитацией», то есть излишними при научном изложении средствами стиля, уместными в пропагандистской статье, речи, но неприемлемыми в теоретическом труде. Отвечая одному из авторов по поводу его статьи, Владимир Ильич писал: «Тема, по-моему, взята хорошо и разработана верно, — но недостаточно литературно отделана. Есть много чересчур — как бы это сказать? — „агитации“, не подходящей к статье по *теоретическому* вопросу» (т. 48, стр. 197).

Резко нетерпимо относился Ленин к подмене научного языка словесной эквилибристикой. Например, в работе «О карикатуре на марксизм и об „империалистическом экономизме“» (т. 30) он критикует П. Киевского (Г. Л. Пятакова), автора статьи «Пролетариат и „право наций на самоопределение“ в эпоху финансового капитала», как за некомпетентность в данном вопросе, так и за беспомощный, антинаучный стиль изложения, формулировок.

Современный немецкий философ Георг Клаус отмечает точность философского выражения, диалектического подхода к рассматриваемому явлению и его обозначению словом в работах В. И. Ленина (Сила слова. М., 1967, стр. 92).

Однако при всей этой фундаментальности и строгости своего научного стиля, Ленин не догматизирует его, не блокирует, не замыкает в себе. «Большинство эффектов литературной речи, — отмечал академик Л. В. Щерба, — основано на тонкой игре стилями. Почему нам так нравится язык Ленина, например, в его больших философских работах? Да потому, что Ленин все время оживает свое изложение разными словами другого, не научно-философского стиля. Это как раз замечательно гармонирует с его насмешками над „цеховыми учеными“, которые словечка не скажут просто» (Избранные работы по русскому языку. М., 1957, стр. 138).

Это тонкое наблюдение Л. В. Щербы подтверждается многими страницами произведений Владимира Ильича.

Лексический и фразеологический арсенал Ленина-полемиста многогранен как в его письменных произведениях, так и в устной

речи, в ораторских выступлениях. Теоретически и практически Ленин боролся за популярное изложение, но без «популярничанья», за ясный, доступный, четкий стиль, но без «упрощенчества», «сниженности», «приспосабливания».

Большое место в языково-стилистических средствах произведений и ораторских выступлений Ленина занимают литературные и литературно-исторические цитаты, изречения, крылатые выражения, художественные образы и другие реминисценции, что уже нашло свое освещение в научной литературе.

Во многих высказываниях Ленина о языке и стиле звучит его непримиримо отрицательное отношение к фразе — звонкой, напыщенной, но пустой; «архиреволюционной», но лживой, хаосной... умничающей, но бессодержательной — и т. д. Так же нетерпимо относился он к «казенному» бюрократическому и запутанному, шаблонному стилю речи деловых документов, статей, произведений какого-либо характера (научного, беллетристического, публицистического и т. д.). В. И. Ленин считал, что в нашей среде за «швыряние» фразами следует карать «не меньше, как насмешками и изгнанием со всякого ответственного поста» (т. 36, стр. 290—291).

Язык В. И. Ленина — государственного деятеля — отличался четким лаконизмом, строгой логикой. А. В. Луначарский, кроме других качеств Ленина-писателя и оратора, подчеркивает его стремление к точности, аргументированности, логическому развертыванию движения фразы.

Ленин не терпел «мошеннических фраз», формул, служащих «для сокрытия своих мыслей» (т. 26, стр. 196). Как ученый-марксист, он знал объективное значение, содержание слова, термина, но он наблюдал также и многочисленные попытки толковать смысл слова узко, тенденциозно и решительно боролся с этим.

Ленинские положения, касающиеся объективности значения слов, отражающих в своем содержании явления и факты объективной действительности, стали фундаментом позиции марксистско-ленинского языкознания в борьбе против ложных утверждений современных буржуазных семантиков, неопозитивистов, представителей так называемой лингвистической философии о том, что якобы главным источником классовых, социальных, идеологических «трудностей», заблуждений, теоретических невзгод является многозначность слов.

Глубоко научно и революционно обосновывая положение о том, что новое время требует нового слова, Ленин давал, однако, истинную оценку ложному новаторству, потугам на новаторство. Вот, например, что он пишет по этому поводу Г. В. Плеханову: «Присматривайте-ка вы, немножко, тов. Плеханов, за Мартыно-

вым и Старовером, право присматривайте! Пишут они красиво, слов нет, совсем даже по-новому красиво, в декадентском стиле, но вот, что к чему, это у них не всегда выходит» (т. 9, стр. 402).

Великий мастер культуры русского языка, Ленин со всей строгостью оберегал его чистоту и величие. Он был могучим строителем нового качества языка — пафоса соединения высоких достижений в развитии научного и публицистического стилей с пробужденной революцией речевой стихией народных масс, с выражением народного революционного самосознания, пафоса соединения русского языка с широким комплексом многогранной марксистско-революционной понятийности, с процессом глубокой и всесторонней демократизации русского литературного языка, а также других языков народов СССР и всего мира. Здесь находят свое место и такие вопросы, как борьба против коверкания русского языка всевозможными бюрократическими штампами, шаблонами, употреблением иностранных слов без надобности, ненужных аббревиатур и т. п.

Ленину был присущ истинный, высокий пафос дела и слова. В ленинских пафосных словах выражено величие социалистической революции, Советской Родины, пафос революционной борьбы и созидания.

Однако эта историческая приподнятость — только в осознании ответственности революционеров, взявших власть в свои руки. Изложение же самой сути вопроса, например, о производительности труда в работе «Очередные задачи Советской власти» проведено с профессиональной тщательностью — с экономическими, статистическими, государственно-управленческими, техническими выкладками, в надлежащем профессионально-деловом ключе речи. Закачивается эта работа призывом, крылатым лозунгом: «Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами может только класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата» (т. 36, стр. 208).

В крылатых и деловых ленинских формулировках воспринимали широкие массы науку о социалистической революции, о строительстве коммунизма, о защите Родины.

Из произведений В. И. Ленина вырастает огромный, фундаментальный словарь марксистско-ленинских дефиниций, формулировок, толкований широкого круга научных, в частности философских, политических понятий, его партийно-политических, несомненно правдивых афоризмов, поражающих своей объективностью, принципиальностью, обоснованностью. Они и сейчас

на вооружении марксистско-ленинских научных, политических кадров, широких масс трудящихся, людей доброй воли всего мира. Вот, например, как Ленин определяет понятия *интернационализм* и *патриотизм*:

1. «Чтобы быть социал-демократом интернационалистом, надо думать не о своей только нации, а выше ее ставить интересы всех, их всеобщую свободу и равноправие» (т. 30, стр. 44—45); «Мелкобуржуазный национализм объявляет интернационализмом признание равноправия наций и только, сохраняя (не говоря уже о чисто словесном характере такого признания) неприкосновенным национальный эгоизм, между тем как пролетарский интернационализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе...» (т. 44, стр. 165—166); «...если мы понимаем „интернационализм“ не в смысле „моя хата с краю“» (т. 49, стр. 394).

Таким образом, первое определение — общее, исходное; второе раздвигает содержание, показывает маскировку под интернационализм, стремление сохранить за обманчивым признанием его национальный эгоизм; наконец, третье — с саркастическим оттенком, высмеиванием этого националистического эгоизма при помощи украинского фразеологизма «моя хата с краю».

Центр в определении — интернационалистическая солидарность борьбы пролетариата во всемирном масштабе.

От научного трактата на философскую, экономическую тему, от революционного, боевого стиля обращений к массам, ведомым на штурм капитализма, поднимаемым на великое созидание Советского государства, социалистического общества, от четких и ясных стилистических конструкций произведений по вопросам литературы и языка, культуры и просвещения — до логически безукоризненного, лаконичного и четкого стиля государственно-деловых документов, писем и, наконец, — до стиля военно-оперативных телеграмм — таков необозримый диапазон речевых средств Ленина.

Изучение языка В. И. Ленина должно осуществляться во всей многогранности его стилей. В опубликованных работах охарактеризован преимущественно публицистический стиль Ленина, приемы его полемического искусства. Необходимы фундаментальные исследования роли творчества Ленина в развитии русской и мировой речевой культуры, в истории русского литературного языка, значения слова Ленина в развитии революционного сознания масс, его международного значения; значения его новаторства для всей языковой практики социалистического общества.

Вопрос о словарях языка Ленина поднимался в нашей науке еще в 20-х годах. Пожелания о их создании настоятельно выска-

зываются и в наши дни. Кроме словаря философских, социально-экономических, общекультурных, социологических понятий, зафиксированных в трудах В. И. Ленина, над которым лингвисты должны работать совместно с Институтом марксизма-ленинизма, большое значение будет иметь также общий словарь языка Ленина, который осветил бы богатство и многогранность его лексических, фразеологических и образных средств.

Здесь уместно напомнить о практике наших немецких коллег. Рабочая группа коллектива ученых, составляющая «*Marx — Engels — Wörterbuch*», пишет в своем сообщении, что германистика зафиксировала глубокие изменения в языке, вызванные влиянием Лютера и Гете; языковые изменения, связанные с влиянием К. Маркса и Ф. Энгельса на борьбу рабочего класса за социализм, на немецкую нацию, до сих пор почти не исследовались. В. И. Ленин — продолжатель дела Маркса и Энгельса, он создал целую историческую эпоху в развитии марксизма, поэтому такой словарь важен и для советского языкознания. Немецкие коллеги считают, что собственный опыт советских лингвистов, приобретенный во время работы над Словарем языка Пушкина, использование опыта работы над словарем Маркса — Энгельса позволит им приступить к созданию словаря Ленина, потребность в котором очень велика для всего мира (*Weimarer Beiträge. Literaturwissenschaftliche Zeitschrift*, 2/68. 14. Jahrgang, стр. 344, 348).

Сюда же примыкает тематика исследований в области ленинской теории национально-языкового строительства в социалистическом обществе, которая имеет основополагающее значение для развития языков социалистических наций СССР, а также являющаяся знаменем борьбы угнетенных народов за свои родные языки — как составную часть общей борьбы за социальное и национальное освобождение.

Язык Ленина был, есть и будет примером для его соратников, образцом для грядущих поколений, ибо, говоря крылатыми словами Владимира Маяковского,—

Вечно будет
тысячестраничный
грохотать
набатный
ленинский язык...

Язык Ленина, стиль ленинской речи — это огромная, органическая часть всей его революционной, партийной, государственной, научной, просветительской деятельности.

Академик Академии наук УССР
И. К. БЕЛОДЕД

Язык художественной литературы



ЯЗЫК И ЖАНР

Об особенностях языка
древнерусских
хождений



ЯЗЫК и жанр взаимосвязаны. Для каждого жанра требуется определенная языковая или, иначе говоря, словесно-стилистическая система. Язык не только оформляет содержание, мысли, поэтические идеи, но наряду с этим создает и форму литературного произведения. Поэтому писателям всех времен и народов было не безразлично, какие словесные средства они избирают из всего языкового богатства. Уже в древнерусской литературе мы находим глубокие по смыслу рассуждения о связи слова с мышлением и душевным складом человека. Известный писатель XVI века Иосиф Волоцкий указывал, что сын рождается от отца, как свет от солнца, как слово от ума. В рукописном сборнике XV века говорится: «Движеть же языком ум». В главе «О учении и о беседе» рукописного сборника конца XIV — начала XV века «Пчела» изумительно сказано: «Слово одевает душу образом».

В Древней Руси создавали, что каждому жанру должны соответствовать и особые, свойственные ему языковые средства. Писатели и читатели знали, что жития пишутся не так, как повести, а повести не так, как церковные песнопения, хождения, притчи и т. д. Традиции эти неукоснительно соблюдались. В рассказе А. П. Чехова «Святой ночью» между прочим поэтично и верно рассказывается, каким языком надо составлять песнопения. «Нужно,—

признается герой рассказа, — чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобы в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего... Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески, чтобы тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание надо так составить, чтобы оно было гладенько и для уха вольготней „Радуйся, крине райского прозябания!“ — сказано в акафисте. Не сказано просто „крине райский“, а „крине райского прозябания!“ . Так глаже и для уха сладко».

Такой жанр, как песнопения, основывался на удаленном от жизни воображении. Соответственно ему разрабатывалась и словесно-стилистическая система, которую можно признать выпрренной, возвышенной, или, иначе говоря, риторической.

Другие языковые средства применялись при написании хождений, путевых очерков, которые составляли особый жанр древнерусской литературы. Если песнопения были лирическими произведениями, то хождения — повествовательно-эпическими. В этом жанре изображаются реальные путешествия с паломнической, дипломатической или торговой целью. Способ изображения в них основывается в первую очередь не на вере и воображении, а на личном опыте, составители хождений описывают явления жизни такими, какими видели их своими, как говорили тогда, «телесныма очема». Композиция хождений представляет собой цепь очерковых зарисовок или кратких очерков, расположенных в произведении по временному или пространственно-топографическому принципу. Главное действующее лицо — повествователь-путешественник. Хождения как литературная форма обладают и некоторыми особенностями словесно-стилистической системы.

Решающее влияние на формирование этого жанра оказали, по-видимому, устные рассказы о путешествиях, о виденном и слышанном в чужих краях. Подобные рассказы о путешествиях и поездках бытовали на протяжении всего древнего периода отечественной истории, они существовали задолго до появления литературных «хождений». Иногда эти устные рассказы записывались на пограничной заставе, в княжеском или митрополичьем доме, и на их основе составлялись так называемые «скаски». Вот эта сказовая, монологическая речь самого путешественника-повествователя

ля наложила отпечаток на самую форму литературных хождений, на их язык. Лишь изредка в них появляется диалог.

Все очерковые зарисовки и рассказы в хождении объединены между собою не только логикой самого путешествия, но и единым монологическим повествованием, единым рассказом путешественника, плавным и неторопливым, временами сопровождаемым личными самооценками и замечаниями о себе. «Аз же не подобно ходих по местем сим святым во всякой слабости и лености, пия, едый и вся неподобныя дела творя», — пишет Даниил. В результате эпическое сливается с личным. Но последнее еле заметно, оно содержится в намеках, в кратких замечаниях, сдержанных и скупых; автор старается никак не выдать собственные дела и заботы, свои переживания за что-то значительное и важное. Чувство скромности было требованием эпохи, и оно сказалось на лирических отступлениях и авторских оценках виденного в пути. Все внимание очерковых записок направлено на эпическое повествование и описание объективных событий, предметов и лиц.

Сами очерковые описания строились на нескольких основных логических приемах, используемых в различных сочетаниях: а) показ действия самих путешественников; б) показ предмета через его действия и действия, вызванные предметом; в) перечисление признаков и действий предмета как средство его описания; г) «нанизывание» предметов друг на друга.

Интересен логический прием описания, который условно можно назвать «нанизыванием» одного более объемного предмета на цепь следующих за ним предметов с уменьшающейся объемом. Вот как, например, описывает анонимный автор хождения конца XIII — начала XIV века двор византийского императора, разрушенный крестоносцами: «Есть царев двор Константинов над морем над Великим, есть на цареве дворе узорочье: над морем высоко поставлен столп камен, а на том столпе 4 столбцы каменных, а на тых столпцах положен камен синего аспида, а в том камени вырезаны псы крылаты и орли крылаты камены и бораны камены; боранам рога збиты, да и столпы обиты; то же били фрязове, коли владели Царимградом». Как видно, описания в таких случаях строятся на последовательном «нанизывании»: царев двор, на дворе — узорочье, в узорочье — столп, на столпе — четыре малых столпца, на малых столпцах — камень, на камени — псы

крылаты, орлы, бараны. Такое описание напоминает сказочный прием тина: дуб, на дубу — сундук, в сундуке — утка, в утке — яйцо, в яйце — иголка.

Господствующие синтаксические конструкции в хождениях — простые распространенные предложения, сложносочиненные и реже сложноподчиненные, главным образом с придаточными определительными. Такие типы предложений отвечают названным логическим принципам построения очерковых зарисовок: «нанизывать» и перечислять предметы или их признаки удобнее всего в сложносочиненных предложениях.

Составители хождений избегают слов с абстрактным значением и широко пользуются словарем, который служит целям точного и ясного обозначения всего того, что встречал путешественник и что представляет для него и для его читателей значительный интерес. Поскольку предметы и действия стоят в центре внимания, то, естественно, существительные и глаголы преобладают в хождениях. При этом существительные более разнообразны и более богаты по своему содержанию, а глаголы в значительной степени повторяющиеся и однозначные.

Определения и эпитеты обычно указывают на объективные качества предмета: материал, из которого он сделан, на его размер, цвет, принадлежность. Если изредка встречаются эпитеты оригинальные и выразительные, метко передающие образно-эмоциональные представления о предмете или явлении, то и в этих случаях они точны. У Игумена Даниила: *болезнь огненная*; течение *лукарево*; дуб *кракловат* (краковат); сердце *каменное*. У Стефана Новгородца в описании колонны: «столп Петров ... велми красен есть *прочернь* и *пробель* видом, аки *дятлен*» [черное с белыми пробелами походит на расцветку дятла]. У Игнатия Смольнянина говорится, что русские путешественники в Царьграде дивились «величеству и красоте *безмерной* церковной».

Некоторые эпитеты могут показаться современному читателю изысканными, претендующими на оригинальность. Однако изучение системы языка хождений показывает, что и в таких случаях эпитеты были объективными, своего рода «терминами». У гостя Василия употреблен эпитет *понеблены*: в городе Антапе у рва находятся стрельницы, «да между стрельниц тех барканы *понеблены*». Слово *понеблены* впоследствии восприняли как оригинальный эпитет (забор, стена покрашены голубой краской, подобной

небесному цвету). На самом деле оно в ту историческую эпоху (XV век) было синонимом слову *покрыты*.

Сравнения служат для описания зрительного или оценочного характера. Основную группу сравнений составляют уподобления неизвестных для русского читателя предметов хорошо знакомым ему: чужеземные реки обычно сопоставляются с русскими — Окою, Москвою, Сновью (Сосною); кипарис по ветвям сравнивается с сосною, а по стволу — с липой; дерево зигия — с ольхою; смола древесная, предназначенная для изготовления фимиама, — с вишневым клеем; кустарник на берегу Иордана — с вербою, лозою и др. Подобные сравнения характерны именно для жанра хождений.

Другая группа сравнений не может быть отнесена к категории характерных для этого жанра. Они встречаются в произведениях и других жанров древнерусской литературы: братья набросились на Иосифа Прекрасного, *яко волци змии*; Даниил путешествовал по Палестине, *аки орел* телом облегчаем; *яко елень* крепко ходих без всякого труда; *пламя червлено яко киноварь*; муж дивен и красен зело, и *сединами аки снег белеяся* и др.

По синтаксическому строю и лексике язык лучших хождений (Даниила, Добрыни Ядрейковича, Анонима, Стефана Новгородца, Игнатия Смольнянина, Афанасия Никитина и др.) пригоден для школьных азбук: настолько он прост, точен и вместе с тем выразителен. Но как только писатели-путешественники касаются религиозно-политических отношений и отступают от эпического повествования, впадая в тон лирического рассуждения, то объективность изменяет им, и они вводят в лексику субъективно-оценочные определения, усложняют синтаксис, прибегают к риторическому стилю.

В такой стилиевой манере написан заключительный очерк в хождении игумена Даниила «О свете небеснем, како сходит ко гробу господню». Эмоционально-возвышенный стиль и ритмическая организация речи в этом очерке своеобразны. Это не та витиеватая, риторически изысканная речь, которую мы встречаем у предшественника Даниила митрополита Киевского Иллариона или у Кирилла Туровского и которая адресована аристократическому читателю. Витиеватый стиль Даниила наполнен элементами устного народного творчества, к которому не был глух русский игумен. От некоторых фразеологических оборотов веет духом устной народной поэзии: людей бе-

и числа много множество; запечатаны печатию царскою; и начаша пети песнь проходную.

В языке всех хождений применяются иноземные слова и фразеологические обороты. Различие хождений заключается в объеме использования этой лексики и в особенностях ее применения. Писатели-паломники, многие из которых владели греческим языком, путешествуя по территории, где этот язык был распространен, вводят в русский текст отдельные греческие слова. В «Хождении за три моря» Афанасия Никитина чрезвычайно много арабских слов.

Иноязычная лексика в хождениях применяется с различными целями. Во-первых, иногда писатели вынуждены были прибегать к ней, потому что в русском языке не было соответствующих слов, поскольку не было на Руси и тех предметов, которые встречали путешественники за рубежами своей родины. При этом сказывалась и привычка путешественника к чужой речи, в особенности после длительного пребывания в иноземной языковой стихии. Во-вторых, иноязычные слова и фразеологические обороты используются в качестве сознательного литературного приема, они придают изображаемому местный колорит. Это особенно видно в тех случаях, когда составители хождения дают пояснения иноземным словам. Особая разновидность этого приема — передача прямой иноземной речи. В-третьих, для зашифровки отдельных суждений, которые встречаются в «Хождении» Афанасия Никитина.

Великий писатель начала XII века Даниил был зачинателем жанра хождений, он первый так блестяще разработал и принципы создания очерков, в основе которых лежал личный опыт писателя-путешественника. Вся последующая древнерусская литература путевых очерков развивалась в том направлении, которое было задано Даниилом, — писать необходимо лишь о том, что испытал сам путешественник, что он увидел собственными глазами: «списах все, еже видех, очима своими грешныма»; не допускать выдумки, ибо «то есть лжа и неправда»; не гнушаться простотой стиля и наоборот надо писать не хитро, но просто, писать так, чтобы чтение путевых записок заменило само путешествие: «не зазрите моему художеству и грубости моей, еже написах не хитро, но просто ..., аба-че еще не мудро, но безо лжи, и яко ж видех очима своим-а, тако и написах»; создавать законченные небольшие очерки-зарисовки и группировать их в целое произведе-

ние по временному или пространственно-топографическому принципу; пересказанная легенда — необходимый элемент в паломнических хождениях, но она должна быть соотнесена с определенной историко-географической местностью. Эти принципы жанра будут соблюдать русские писатели-путешественники вплоть до первой четверти XVIII века.

Простота языка хождений не может быть объяснена несовершенством литературного мастерства или тем, что хождения являются, как полагают некоторые литературоведы, памятниками деловой письменности. Хождения, как и другие жанры древнерусской литературы (жития, повести различных видов, притчи, видения и др.), — это одна из форм литературы художественной, но того периода, когда художественность носила особый отпечаток и значительно отличалась от художественности литературы нового времени.

Лучшие хождения Древней Руси обладали большой художественной силой и выразительностью. Их своеобразие сказывалось прежде всего в поразительной простоте воплощения эстетического мироощущения древнерусского человека в образах лапидарных, предельно экономных и строгих. Они, подобно древнерусским иконам, были понятны читателям. В них отразилась мудрость человечества, которая не исчезает бесследно с ушедшими из жизни поколениями людей и которая не вдруг раскрывается современному человеку, воспитанному на иной системе художественных взглядов. Поэтому хождения игумена Даниила и Афанасия Никитина принадлежат к числу великих произведений нашей отечественной очерковой литературы. По своей человеческой мудрости и простоте ее художественного выражения они не имеют себе равных.

Иногда полезно прочитывать тематически совпадающие произведения различных веков, чтобы понять их своеобразие и художественную силу. Так, в очерках И. А. Бунина «Тень птицы» (в ранних изданиях — «Храм Солнца») изображаются те места христианского Востока (Константинополь, Иерусалим, Палестина, Ливан), о которых рассказывается в древнерусских хождениях. В особенности много тематических перекличек очерков Бунина (1907—1911) с очерками из хождения «игумена русской Земли» Даниила (1108—1112). Приведем отрывки из этих произведений, отделенных друг от друга восемью столетиями.

И. А. БУНИН О МЕРТВОМ МОРЕ

Мертвенно-тихо. Впереди пепельно-серые дюны, кое-где жесткий, осыпанный солью кустарник. Небо здесь так просторно, как нигде: нигде нет долины, столь глубокой, как эта, и нигде не кроется так долго за горными вершинами солнце, как за ровной стеной Моава. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры. Но и до нее уже достигает свет, охвативший полвселенной,— сухой, золотисто-шафренный свет, на котором так нежно-сиренева застывшая весь восток горная громада. Одно Мертвое море прячется от света. Вон оно — у самого подножия ее, за тем голым побережьем, что белеет вдали, вправо. Ясно виден и обманчиво близок кажется северный залив. Но синее он тускло, свинцово...

«Символ страшной страны сей — море Асфальтическое», — говорили когда-то. Страх внушает она пилигримам и доньше, трижды проклятая и трижды благословенная. Мало совершивших путь по всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. Легче, говорили они, пройти все океаны земные, чем это крохотное море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пугают глаз человекоподобными очертаниями и так смолисты, что могут быть зажжены как факелы,— море, дно которого столько раз трескалось от землетрясений, и выкидывало на поверхность те таинственные вещества, что служили египтянам для сохранения мертвых от тлена, море, жгуче-соленое, горькие волны которого тяжки, как чугун, и в бурю, «покрытые кипящим рассолом», потрясают берега своим гулом, между тем как пламенный ветер до самого Иерусалима мчит столбы песка и соли ...

Длится и все светлее становится золотисто-шафренное аравийское утро. Толкут и толкут копыта твердую, растрескавшуюся дорогу. Но ни единая птица не взвилась еще с радостной утренней песней над долиной. И, верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве жадно-трусливой души кочевника или гиены. Впереди, среди пустыни цвета пемзы,— лента прииорданской зелени, чащи ив, тамарисков, камышей. Теперь, поздней весной, нет даже пилигримов ...

Полдень проводим у самого моря. Жутко звучит на его нагом, ослепительно белом побережье это слово — полдень. Прииорданские камыши и кустарники не смеют дойти сюда вместе с Иорданом: далеко вокруг песчано-каменисто и покрыто солью, селитрой то место, где сливается река с масленистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые похожи те как бы окаменелые ветви, что приносит сюда течение реки и что снова, уже мертвыми, выкидывает море. В знойно-мглистой дали теряется оно на юге.

ДАНИИЛ О МЕРТВОМ МОРЕ

А от Иерахона до Иордана 5 верст великих, все поровну, в песце, путь тяжек велми: ту бо мнози человецы задыхаются от зною и умирают от жажды водныя. Ту бо есть море Содомское близ пути того, исходит же дух знойный, и смердящ из моря того, яко из печи горящие, и пополяет землю ту зноем тем смертным...

Море же Содомское мертво есть, и не имать ничто же в себе животна: ни рыбы, ни раки, ни скалии; но аще быстрина иорданская внесет рыбу в море, то не может жива быти ни мала часа, но вскоре погибает. Исходит бо из дна моря смола черна, и плавает та смола многа; а смрад же исходит из моря того не сказань...

То все видех очима своим, но ногама своим не могох дойти до Содомского того моря, бояни ради поганных. И не даша ны тамо итти правовернии человецы, рекуще тако: «Ничто же вы не видите добра тамо, но токмо муку и смрад зол исходит из моря того, и тако ны реша: боль будет от смрада того злаго».

Бунин и Даниил видели одни и те же места, но видели их в различные исторические эпохи. Многое за эти столетия изменилось в общественной жизни, культуре, технике и даже в самой природе. Даниил писал, что в зарослях на побережье Иордана, на Хевроне и в окрестностях Вассана водятся львы и леопарды. Не только Бунин не мог видеть в Палестине этих зверей, но и все после Даниила писатели-паломники не оставили подобных свидетельств.

Менее всего изменились за эти столетия пейзаж и природные условия в окрестностях Мертвого моря, которое Даниил называет «морем Содомским». Пейзаж тяжкого места Палестины производил в общем-то близкое впечатление на того и другого путешественника. Но описали они каждый по-своему и каждый с изумительным и неподдельным художественным мастерством. «В легкой и все же душевной тени дышишь как бы жаром раскаленного костра», — пишет Бунин. Как бы предупреждая его, Даниил писал: «Исходит же дух знойный, и смердящ из моря того, яко из печи горящая, и пополяет землю ту зноем тем смертным».

Разумеется, Бунин ближе современному читателю по языку и стилю. Но Даниил по-своему не уступает современному писателю, а в чем-то даже и превосходит его. Описания у Даниила просты и весомы, они более мате-

риализованы, объективны и лапидарны. Они помогают дать трезвую оценку виденному.

Бунин субъективен, и этот субъективизм отличает Бунина-очеркиста от очеркиста игумена Даниила. У Бунина не только весьма красочная гамма, но и музыкальная тональность речи разнообразится (ведь недаром он назвал свои очерки «путевыми поэмами»). Особенно виртуозным мастерство Бунина становится в пейзажных зарисовках, где изощренность художника требовала того субъективизма, который позволял утонченно постигать эстетическую сущность жизни. Это нашло свое выражение в богатстве эпитетов, передающих оттенки зрительных, слуховых и осязательных впечатлений.

Красочная гамма, передающая зрительные впечатления через эпитеты, довольно разнообразна и сложна: вода темно-зеленая; «солнце погасло и вода стала тяжелой, кубовой»; море мертвенно-бледное; залив «синее тускло, керосиново» и др.; долины — нежно-фиолетового дыма, серо-фиолетового тона, «как серебристо-голубой туман»; устье долины «налито густым и ярким аквамаринном, который кажется неестественным на земле» и др.; небо и воздух — бледно-синие, знойно-мглистые, золотисто-шафрановые, золотисто-синие. Менее богаты эпитеты, передающие слуховые, осязательные и вкусовые впечатления: мертвенно-тихо; жесткий, осыпанный солью кустарник; пламенный ветер; жгуче-соленые, горькие волны; жгуче-горькая вода.

Такого богатства и изощренности изобразительных средств у Даниила нет. Но у него есть поэзия простоты и ясности, которая позволяла ему создавать выразительные, запоминающиеся картины. Даниил сознательно избрал литературный принцип «писать не хитро, но просто», но писать так, чтобы чтение его сочинения заменило само путешествие. С этой задачей он справился блестяще.

*Доктор филологических наук
Н. И. ПРОКОФЬЕВ*

Стиль

«Вешних вод»

И. С. Тургенева



«Вешние воды» — одно из самых совершенных созданий Тургенева, а потому все особенности языка и стиля писателя проявились в нем наиболее полно и выразительно.

Юные, в блеске красоты, преисполненные жизненных сил, озаренные светом первого неповторимого чувства — таковы главные герои повести. Сама атмосфера ее — атмосфера молодости, любви, красоты, тончайших душевных переживаний героев — уже определяет лирический тон этого произведения.

«Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа... А летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полудейных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости — молодости первоначальной». Здесь радость и беспечная веселость молодых влюбленных, озаренная золотыми лучами летнего солнца, соединяется с радостью самого автора за своих героев, с его любованием их счастьем и «молодостью — молодостью первоначальной». Эта непосредственная близость между автором, его героями и читателем сказывается и во многих лирических отступлениях повести. Иногда это прямое обращение или призыв к герою и читателю одновременно. Например, в том месте, где Санин, познако-



мившись с Джеммой и наслаждаясь ее обществом, думал о предстоящей разлуке с ней, автор, как бы в ответ на его мысли, восклицает: «пока один и тот же челнок, как в Уландовом романсе, несет их по жизненным укропленным струям — радуйся, наслаждайся, путешественник!».

Язык повести в целом отличается необычайной даже для Тургенева эмоциональностью. Риторические украшения речи в виде обильных восклицаний и вопросов часто встречаются и в речи героев, и в авторском повествовании: «Боже мой! Какая же это была красавица!»; «Санин два раза прочел эту записку — о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк!»; «Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, Боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный — и несомненный завтрашний день!».

Обилие вопросов, обращенных героем к самому себе выражает сомнение или тревогу, неуверенность или недоумение, раскаяние или призыв: «...что с ним такое?»; «Неужели она не придет?»; «Мог ли я думать?»; «О, Панталеоне, где ты?»; «Как мог он покинуть Джемму?»; «Но жива ли она? Ответит ли она?». Эти и подобные им вопросительные и восклицательные предложения, короткие фразы составляют своеобразие интонационно-синтаксической структуры речи, придают ей лирическую окраску.

Тургенев часто передает не высказанные словами чувства, прибегая к недомолвкам, паузам, намекам. На письме это обычно выражается многоточием. Такой прием останавливает внимание читателя, заставляя его острее ощутить малейшие оттенки переживаний или дорисовать в воображении то, на что автор лишь намекает.

Позднее аналогичный прием встречаем в драматургии Чехова. Однако еще до чеховской психологической драмы многое в этом направлении было сделано Тургеневым. Из одной только повести «Вешние воды» можно привести много примеров подобной недосказанности, использования многозначительных намеков и пауз. Этот смысловой подтекст находит выражение в синтаксисе. Проза Тургенева содержит эллиптические конструкции, незаконченные предложения. Например, Джемма обращается к Санину: «Я знаю, вы мне не откажете, потому что...» или «У меня была твоя записка — и я без того уже знала...».

В диалогах смысл недосказанных слов обычно легко подразумевается и говорящие понимают друг друга с полуслова: «Разве фрейлейн Джемме было известно... — протянул он [Санин] недовольным голосом», имея в виду дуэль. Панталеоне оправдывался: «Я принужден был ей все сказать, — пролепетал он, — она догадывалась — и я никак не мог...». Или в беседе Санина с Марьей Николаевной: «... а сверх того... что касается до странности браков... уж коли на то пошло... Он вдруг умолк и прикусил язык. Марья Николаевна ударила себя веером по ладони. — Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте; я знаю, что вы хотели сказать».

Недомолвки и паузы в предложениях несут самую разнообразную смысловую нагрузку. В некоторых случаях паузы выражают раздумья героя, неопределенность решения: «Санину вспомнилось вчерашнее... в карете: — Что это — вопрос... или упрек?»; «Присуха.. колдовство... — повторил Санин. — Все на свете возможно».

Часто прерывистая речь, оборванные фразы свидетельствуют о чрезмерном волнении говорящего. Вот как передается возбужденное состояние Джеммы и Санина во время объяснения в саду: «...пальцы Джеммы дрожали на ее коленях...»; «Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!». А вот сбивчивая речь фрау Леноре, умоляющей Санина уговорить Джемму не отказывать жениху: «Вас сам Бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...». Или тревога Эмилио за Санина в связи с дуэлью: «Я ждал вас здесь... Вы... убили его?».

Во многих случаях Тургенев избегает подробных описаний того или иного поступка, предоставляя читателю самому догадаться о последующем действии: «Он [Санин] не дал ей догово-

рять... Джемма отклонила свое лицо». Глаза Эмилио «впиваются в Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдруг для обиды...».

Подчас непоследовательность речи бывает вызвана замешательством, затруднительным положением героя, мучительным подыскиванием нужного слова. Таково незавидное положение Санина при выполнении им щекотливой роли посредника между Джеммой и ее матерью: «Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решились переменить... свои прежние намерения». И на вопрос Джеммы, советует ли он ей выйти замуж за Клюбера, нерешительно протянул: «Да... то есть...».

Даже находчивая Марья Николаевна в разговоре с Саниным при покупке имения порой затруднялась в выборе подходящего слова: «Вместо того, чтобы поощрять в вас... ну, как бы это сказать получше?... благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках».

Паузы могут также придавать большую выразительность мысли или, как в последующих примерах, подчеркивать чувство раскаяния и горечи, усугубляя безнадежность положения. После сближения с Марьей Николаевной Санин «стоял перед нею, как потерянный, как погибший...». Впереди его ждали все унижения раба, «которого бросают, наконец, как изношенную одежду...». Он вспомнил «письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа...».

Однако чаще всего Тургенев употребляет паузы тогда, когда хочет придать большую значимость отдельным словам и выражениям. Марья Николаевна в разговоре с Саниным о своем замужестве, чтобы обратить особое внимание на себя, выиграть в его глазах, делает акцент на словах, выгодных для нее: «Какая может быть причина такого страшного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не глуха... и не дурна?».

Паузы подчеркивают и наиболее важные, значительные моменты в жизни героев: «Несколько мгновений с недоумением рассматривал он [Санин] этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул...»; «Тридцать лет прошло с тех пор... Легкое ли дело!». Во втором предложении многоточие еще и усиливает впечатление длительности времени, как бы заставляя читателя прочувствовать сказанное.



На протяжении более чем столетия творчество Тургенева освещалось по-разному. Но в одном критики всегда проявляли полное единодушие — в оценке языка художника, отмечая его вы-

ские достоинства, его красочность и образность, точность и чистоту. Тургенев всегда стремился к тому, чтобы читатель увидел героя или пейзаж, обстановку действия именно так, как видится ему, автору. Отсюда особое внимание его к сравнениям и эпитетам. Тургенев очень щедр на эти изобразительные средства, вместе с тем он придирчиво взыскателен к их выбору, весьма точен в нем.

Большой выразительностью отличаются сравнения Тургенева. Самые интересные из них взяты из мира природы. И это не удивительно, если вспомнить страстную привязанность Тургенева к природе, которую он любил и как поэт, и как охотник, и просто как русский человек.

В тургеньевских сравнениях присутствуют животные, деревья, всевозможные растения: Санин «скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах»; «Горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу»; «А там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища». Сердце Санина «билося так легко, как бьет крылами Мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем».

Наиболее многочисленны сравнения с птицами. Панталеоне «турманом выбежал из-за куста»; Панталеоне «снова уподобился птице, да еще сердитой,— ворону, что ли, или коршуну»; «Фигура величественная, нос как у орла»; «Как стая громадных птиц, промчался прсчь взыгравший вихорь»; «Поедем прямо, как летают птицы» и т. д.

Сравнения Тургенева отражают самые различные явления природы: «Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь»; «Изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль».

Особенной нежностью и изяществом отличаются сравнения из мира природы, характеризующие тургеньевских женщин. Перед Саниным «свежая и розовая, как летнее утро... стояла Марья Николаевна». Глаза Джеммы, «то широко раскрытые и светлые, и радостные, как день, то полузастланные ресницами и глубокие, и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами».

Женскую красоту Тургенев нередко подчеркивает сравнением с красотой цветов: Джемма «вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка»; губы Джеммы «рдели девственно и нежно, как лепестки столитвенной розы»; Марья Николаевна покраснелась, «как маков цвет».

Немало у Тургенева и сравнений, цель которых не ограничена тем, чтобы придать изображению яркость, наглядность, конкретность. Одни из них выражают психологическую сущность образа, его основную идею. Так, сравнивая улыбку Санина с улыбкой ребенка, автор раскрывает перед нами душевную простоту и довер-

чивость своего героя. То же самое можно сказать и о Джемме, у которой «зубы блистали... невинно, как у детей».

Иным предстает перед нами облик другой героини повести Марья Николаевна Полозовой. Тургенев находит сравнения, соответствующие ее характеру: «Змея! ах, она змея!.. Но какая красивая змея!». О ее глазах автор пишет: «У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза». В этих двух красноречивых сравнениях — вся Марья Николаевна: вкрадчивая, ненасытная, хищная...

Другие сравнения у Тургенева выступают в сатирической функции, например, при обрисовке Клюбера, «прямого, как стрела, завитого, как пудель», или висбаденского критика с «огромными ушами, как у летучей мыши».

В некоторых случаях сравнения выражают иронию: «В последнее время, в нашей литературе, после тщетного искания „новых людей“, начали выводить юношей, решившихся, во что бы то ни стало, быть свежими!.. свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург»... Иногда сравнения имеют юмористическую окраску. Так, растрепанные косицы Панталеоне «придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей»...

В повести встречаются и развернутые сравнения, каждое из которых — законченная картина. «Первая любовь — та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, — и что б там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь — всему она шлет свой восторженный привет».

Особый тип сравнений, встречающийся у Тургенева часто, — своеобразные литературные и художественные реминисценции. Из русской литературы: «Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в „Онегине“»; «Не перед „святыней красоты“, говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею»; «Какой он был муж совета! Он просто был муж *Татьяны Юрьевны*» (Грибоедов. Горе от ума).

Красочности и точности художественного языка Тургенева в значительной мере способствуют его многочисленные эпитеты. Среди них есть так называемые объективные. Если речь идет о пейзаже, то эпитеты передают цветовые, пространственные и другие представления: тесное ущелье; узкая, неторная дорожка; промозглая, прошлогодняя листва; луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый; и сколько ж их высыпало, этих звезд — больших, малых, желтых, красных, синих, белых.

Объективные эпитеты служат и для передачи точного портрета персонажа: «нос у ней [Джеммы] был несколько велик, но краси-

вого, орлиного ладу; верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, розный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь»; «Перед ним [Саниным], в легком, серо-зеленом баржевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках.. стояла Марья Николаевна».

Психологические детали в портрете также передаются преимущественно при помощи эпитетов. Однако это уже не объективные, а эмоциональные. Они приоткрывают нам внутренний мир человека. У Полозова выражение лица «кислое, ленивое и недоверчивое», у Санина — «простодушно-веселое, доверчивое, откровенное»; у Марьи Николаевны глаза «алчные, светлые, дикие», у Джеммы — «доверчивые и благодарные».

Как и сравнения, эпитеты часто бывают связаны с идейным содержанием произведения. Эпитеты, характеризующие Клюбера, звучат явной иронией: отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек; более чопорный и накрахмаленный, чем когда-либо; он направился к трактиру величественной походкой. Сатирически звучат и все прилагательные в превосходной степени, относящиеся к Клуберу: наиновейшие сапоги; богатейший фуляр: тончайший аромат.

Часто встречается употребление четырех, еще чаще трех эпитетов при одном определяемом слове: Санин «вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо»; «ее рука была... теплой, и глаже, и мягче, и жизненней»; «он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно»; «...рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную»; «... не мог не ощущать... запаха, тонкого, свежего и пронзительного»; «утро было тихое, теплое, серое».



Основное свойство повести «Вешние воды», определяющее характер ее стиля, — лиризм. Тесная связь автора с героем произведения, духовная близость, существующая между ними, сказывается прежде всего в общем характере повествования, с его незаметными, плавными переходами от размышлений и монологов героя к авторскому описанию и к прямым авторским суждениям о жизни.

Но присутствие личности автора, его отношение к описываемым событиям отчетливо видно и в более частных проявлениях стиля: в многообразных сравнениях, отражающих богатый мир интересов самого Тургенева; в объективных и оценочных эпитетах

А. М. ГЛАДИЛОВА

«Если»~
«коли»
в повести
«Барышня-
крестьянка»



Гравюры Н. И. Пискарева
1937

Синонимия — одно из важных средств выразительности, красоты и точности языка, так как она позволяет выбирать языковые средства в зависимости от целей и условий общения. Возможность выбора синонимов существует не только в лексике и морфологии, но также и в синтаксисе. Например, условно-следственные отношения в сложном предложении могут быть выражены с помощью союзов *если*, *коли* и, наконец, бессоюзной конструкцией.

А. Н. Гвоздев так характеризует стилистическую принадлежность трех этих способов: «Наиболее обычным союзом является „если“». «Союз „коль“ имеет разговорный оттенок». «Бессоюзные предложения прежде всего характерны для разговорной речи... Общее различие союзных и бессоюзных предложений сводится к тому, что первые выражают устанавливаемые между предложениями отношения более четко, чем бессоюзные; в них яснее выражаются логические связи между предложениями. В бессоюзных предложениях связи менее четки, они только намечаются интонацией..., эти отношения больше угадываются на основе семантики объединяемых предложений. В связи с этим бессоюзные предложения отличаются легкостью, непосредственностью, естественностью, что и обуславливает их использование не только в бытовой,

но и в художественной речи...» (Очерки по стилистике русского языка. М., 1955).

В повести «Барышня-крестьянка» Пушкин тонко пользуется возможностями, которые предоставляет ему язык. Всего в повести 13 синтаксических конструкций, выражающих условно-следственные отношения; из них 8 — сложноподчиненные предложения с союзом *если*, 3 — с союзом *коли* и 2 бессоюзных сложных предложения. Такие языковые средства соответствуют конкретно-бытовому содержанию, системе персонажей повести и общему разговорному характеру ее языка (в повести живут, действуют, разговаривают, ссорятся, ездят друг к другу в гости провинциалы-помещики, их слуги и домочадцы; барышня поверяет свои тайны крестьянской девушке, горничной Насте, барышня переодевается крестьянкой, чтобы устроить свидание с молодым соседом-помещиком, она разговаривает с ним «на крестьянском наречии», которому тот частично подражает, и т. д.).

Упомянутые конструкции находятся в полном соответствии с общим непринужденным разговорным характером языка повести, который создается преобладанием простых по структуре и небольших по объему предложений, насыщенностью бессоюзными конструкциями, конструкциями с несобственно-прямой речью, диалогическими формами речи, неполными предложениями и др.

Представление об этом дает сравнение одинаковых по объему отрывков из повести «Барышня-крестьянка» и, скажем, повести «История села Горюхина», иной по содержанию и замыслу.

Больше того, синонимичные конструкции, выражающие условно-следственные отношения, в повести «Барышня-крестьянка» употребляются в строгом соответствии с тем, кому они принадлежат (автору или персонажу, кому из персонажей), в какой ситуации произносит их персонаж (с кем он говорит, в какой роли он выступает) и т. д.

Так, предложения с союзом *если* принадлежат автору и персонажам культурного общества: «Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно б, он поворотил в сторону»; «Папа,— отвечала Лиза,— я приму их, если вам это угодно, только с уговором...»; «Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное...»; «Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит»; «Я провожу тебя, если ты боишься, ...ты мне позволишь идти подле тебя?».

Напротив, конструкции с союзом *коли* и бессоюзные исключительно связаны с такими персонажами или такой ситуацией, которые предполагают близость к разговорному, точнее, к простонародному, крестьянскому, языку. Один раз союз *коли* употребляет Настя, горничная Лизы, один — Лиза в роли Акулины, не только переодевшаяся в крестьянские лапти и сарафан, но и усвоившая «крестьянское наречие», один раз в разговоре с Акулиной Алексей Берестов, стремившийся уравнять с ней отношения и в какой-то степени язык.

«А нам какое дело до господ!.. К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым, а старики пускай себе дерутся, коли им это весело»; «Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти»; «Однако ж,— сказала она [Акулина.— Л. III.] со вздохом,— хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей,— есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».

Весьма показательно, что переодетая крестьянкой и говорящая на «крестьянском наречии» Лиза Муромская, Лиза — Акулина, в одном из эпизодов первой встречи с Алексеем Берестовым чуть было не вышла из своей роли, напуганная его бесцеремонным обращением. Неожиданно для себя (и Берестова, конечно) она возвращается к прежней, обычной для нее языковой манере.

Несколько принужденную крестьянскую речь Лизы — Акулины (баишь иначе; собаку кличешь не по-нашему; А лжешь — не на дуру напал) неожиданно сменяют языковые средства и обороты, обычные для языка воспитанной барышни: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,— сказала она с важностью,— не извольте забываться». Вы вместо ты, если вместо обычного для крестьянской речи *коли* (*коли* употребляет и Лиза — Акулина в дальнейшем разговоре с Берестовым, в более спокойном состоянии, помня, так сказать, о маске, о взятой на себя роли, и сам Берестов, обращаясь к Акулине), «не извольте забываться», иной объем и структура фразы, иное словорасположение. А потом «Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась». Перед нами снова умная и лукавая, скромная и полная чувства собственного достоинства крестьянская девушка. «А что думаешь? — сказала она,— разве я и на барском дворе никогда не бываю? Небось: всего наслышалась и нагладелась»; «Иди-ка ты, барин, в стору, а я в другую. Прощения просим...»; «Что ты?.. Ради Христа не приходи. Коли [уже *коли*, а не *если*.— Л. III.] дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти».

Конструкция с *коли* у Лизы — Акулины «в маске», помнящей о взятой на себя роли, и конструкция с *если* у Лизы — Акулины, застигнутой врасплох, забывшейся, вышедшей из своей роли, не случайны; они употреблены в полном соответствии с другими, окружающими их, языковыми средствами (лексическими, морфологическими, синтаксическими).

Только на одно мгновение в крестьянской девушке, собеседнице Алексея Берестова, проглядывает благовоспитанная барышня, а потом снова маскарад. Мгновение это, однако, не остается не замеченным для Берестова. Он удивлен и восклицает: «Кто тебя научил этой премудрости?.. Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение». Надо отметить, что Лиза — Акулина, хоть и хорошо владеет, по свидетельству автора, простонародным наречием, все же ощущает его как нечто чуждое, постороннее ей, и потому невольно (и неоднократно) соскальзывает в привычную для нее языковую стихию и именно этим отчасти разоблачает себя. Речь Лизы — Акулины в ситуации непредвиденной, ситуации, к которой она не готова, в которой она не знает заранее, как будет вести себя и что говорить, как и в ситуации серьезной, ответственной, — это не речь крестьянки.

Вот еще один образец речи Лизы — Акулины (после объяснения Берестова в следующее, второе, их свидание — момент очень значительный и полный драматизма; Лиза знает отношение к ней Берестова, Лиза сама влюблена, их счастьем препятствует только вражда между семьями). Нетрудно заметить, что это далеко не то «крестьянское наречие», к которому она прибегала во время первого свидания, всего день пазад: «Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. „Дай мне слово,— сказала она наконец,— что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу“. Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. „Мне не нужно клятвы,— сказала Лиза,— довольно одного твоего обещания“...». Алексей удивлен еще больше; Акулина кажется ему «странною крестьянкой». «Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть».

В разных ситуациях употребляет конструкции с *если* и *коли* и Алексей Берестов. Как и для Лизы, конструкция с *если* для него, по-видимому, обычна, конструкцию с *коли* он употребляет, подделываясь под крестьянский язык Акулины.

Бессоюзные сложные предложения (две конструкции), являю-

щиеся, как отмечают многочисленные авторы, принадлежностью разговорной речи и отличающиеся от синонимичных им союзных меньшей дифференцированностью, меньшей четкостью логических отношений между частями, зато большими интонационными, эмоциональными возможностями, в повести «Барышня-крестьянка» также принадлежат соответствующему (их особенностям) персонажу и употребляются в соответствующей ситуации. Не случайно оба раза их употребляет именно Иван Петрович Берестов, старый русский барин («медведь и провинциал», по характеристике Муромского) в разговоре с сыном о женитьбе. Берестов привык обращаться со всеми (а с сыном в особенности) запросто, не церемонясь, не выбирая слов: он любит сына, уверен в его послушании (автор: «Иван Петрович менее [чем Муромский.— Л. III.] беспокоился об успехе своих намерений»), и поэтому речь его звучит непринужденно, с естественными разговорными интонациями; разговор с сыном не представляется ему в большой мере ответственным и требующим предварительного долгого обдумывания с логической стороны.

Приводим часть диалога между отцом и сыном, в котором старшим Берестовым употреблены бессоюзные условно-следственные конструкции:

- Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.
- Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.
- Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.
- После понравится. Стерпится, слюбится.

Итак, употребление синонимичных синтаксических средств, выражающих условно-следственные отношения, в повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» не случайно, налицо сознательный их выбор в зависимости от художественных задач, стоящих перед автором.

Л. М. ШЕЛГУНОВА
Волгоград





«ЧУТЬ-ЧУТЬ»



В эстетическом трактате «Что такое искусство?» Лев Толстой приводит рассказ о живописце Брюллове: «Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. „Вот, чуть-чуть тронули, и все изменилось“, — сказал один из учеников. „Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть“, — сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства».

Афоризм, заключающий этот рассказ, позволил Толстому дать расширенное толкование выражению «чуть-чуть», которое понимается им не только как поправки опытного мастера на несовершенном этюде ученика, но и как изменения, которые вносит мастер в собственные произведения.

Исходя из своего понимания сущности искусства как заражения воспринимающих чувствами творца, Толстой придает «чуть-чуть» такого рода решающее значение: «Заражение только тогда достигается и в той мере. — пишет он, — в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства».

Великим мастером находить волшебные «чуть-чуть», усиливающие выразительность первоначального текста, был и сам Лев Толстой. Толстовские «чуть-чуть» разнообразны до бесконечности: вносятся те или иные выразительные детали, отдельные слова, метафоры, эпитеты, сравнения, изменяется контекст. В каждом отдельном случае цель правки конкретна и неповторима. Однако

при всем их разнообразии, поиски Толстым «чуть-чуть», то есть «тех бесконечно малых моментов, из которых складывается произведение искусства», ведутся не хаотично, а в соответствии с эстетическими требованиями к языку художественного произведения.

1

Прежде всего толстовские «чуть-чуть» направлены на то, чтобы придать стилю произведения качество художественной простоты. А. Б. Гольденвейзер вспоминает такие слова Толстого: «Пушкин говорит: „Прекрасное должно быть величаво“, — а я бы сказал: прекрасное должно быть просто» (Вблизи Толстого).

Произведение искусства, по мнению Толстого, должно сообщать нечто неизвестное о реальной жизни. Увидеть это новое содержание помогает писателю талант, то есть «дар, который состоит в способности усиленного напряженного внимания, смотря по вкусам автора, направляемого на тот или иной предмет, вследствие которого человек, одаренный этой способностью, видит в тех предметах, на которые он направляет внимание, нечто новое, такое, чего не видят другие».

Однако художнику мало увидеть новое в окружающей действительности. Необходимо, создав произведение искусства, передать это новое другим людям. Убедительно это можно сделать только при том условии, если новое содержание, увиденное художником в реальной жизни, будет выражено просто, ярко, доступно для всех. Вот почему Толстой убежденно утверждает: «Простота — необходимое условие прекрасного».

Поэтому, совершенствуя стиль своих произведений, Толстой прежде всего стремится к художественной простоте. В качестве примера приведем правку журнального текста романа «Анна Каренина» при подготовке его для издания отдельной книгой.

В журнале примирение Долли и Кити описано так: «Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла успешно идти машина взаимного общения между двумя сестрами. После слез сестры разговорились не о том, что они хотели знать; но и не о том говоря, они поняли, что хотели знать». Заметив, что вторая фраза может быть выражена проще, Толстой изменяет ее, и отрывок принимает такой вид: «Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения между двумя сестрами, — сестры после слез разговорились не о том, что занимало их; но, и говоря о постороннем, они поняли друг друга».

Рассказывая о Вронском, который хотя и нуждается в деньгах, но не считает возможным взять назад доход с имения отца, отданный разорившемуся брату, Толстой пишет: «Ему стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить, как эта милая, славная Варя при каждом удобном случае напоминала ему, что она помнит его великодушие и ценит его, и он чувствовал, что отнять назад данное он мог так же мало, как прибить женщину, украсть, или солгать». В этой фразе Толстому показался недостаточно простым оборот «так же мало...», и он заменяет его: «Ему стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить, как эта милая славная Варя при всяком удобном случае напоминала ему, что она помнит его великодушие и ценит его, чтобы понять невозможность взять назад данное. Это было так же невозможно, как прибить женщину, украсть, или солгать».

«Надо стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности,— говорил Толстой,— чтобы всякий, кто прочтет, сказал бы: „Только-то? Да ведь это так просто“. А для этого нужно огромное напряжение и труд».

2

Другое эстетическое требование Толстого, в соответствии с которым он совершенствует стиль своих произведений, заключается в смысловой точности сказанного.

«В разговорной речи,— говорил Толстой писателю Тищенко,— мало будет разницы, каким способом мы выскажем свою мысль, но в художественном произведении мы должны стремиться высказать ее идеальным способом. Мысль высказана в художественном произведении идеальным способом только тогда, когда ни одного слова к сказанному нельзя ни прибавить, ни убавить, ни изменить без того, чтобы не испортить произведения. К этому должен стремиться писатель» (Ф. Ф. Тищенко. Как учит писать Л. Н. Толстой.— «Русская мысль», 1903, № 11).

Как же определить, выражена ли мысль в художественном произведении «идеальным способом»? По мнению Толстого, основной критерий — соответствие сказанного реальной жизни. Именно с этой точки зрения писатель должен рассматривать все, вплоть до каждого отдельного слова.

Приведем несколько примеров работы Л. Н. Толстого над стилем в соответствии с требованием смысловой точности сказанного. Сопоставим журнальный текст романа «Анна Каренина» с текстом в отдельном издании.

Описывая выражение лица Вронского при появлении Анны в гостиной княгини Бетси, Толстой дает такое сравнение: «Княгиня Бетси, случайно взглянув на Вронского, увидела, что в лице его, обращенном к двери, произошла странная перемена. Лицо Вронского просияло. Все волосы, как уши у лягавой собаки, двинулись назад, и он, не спуская глаз с двери, приподнялся. В гостиную вошла Анна».

В издании романа отдельной книгой Толстой снимает это сравнение, как не характерное для кругозора светской женщины, наблюдавшей за Вронским, и переделывает приведенный отрывок: «У входа двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно и вместе с тем робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна».

Смысл этого изменения очевиден. Во-первых, указана мотивировка, почему Бетси посмотрела на Вронского. Во-вторых, введена тонкая психологическая характеристика внутреннего состояния героя, которая раскрывается постепенно, именно поэтому совершенный вид глагола заменен несовершенным: не вошла, а входила. Все это придает описанию большую точность.

В сцене свидания Анны с сыном есть такое место: «Сколько речей приготовила она сказать ему, чтобы объяснить свою разлуку с ним! А теперь она чувствовала невозможность говорить эти слова». Обе фразы изменены: «Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему! А теперь она ничего не умела и не могла сказать».

Перенеся сказанное в первой фразе в будущее время и введя глагол многократного действия, Толстой показал всю глубину страдания Анны, которая не может забыть встречи с сыном, вновь и вновь переживая ее детали. Заменяя слова «чувствовала невозможность» двумя глаголами активного действия «уметь» и «мочь» с отрицанием перед каждым из них, писатель изумительно передал волнение, растерянность и беспомощность своей героини.

Диалог между Вронским и Анной, предшествующий эпизоду в театре, где героиня была так жестоко оскорблена, содержит в журнальной редакции романа следующие реплики. На вопрос Вронского, поедет ли она в театр, Анна отвечает вопросом: «Отчего же вы так испуганно спрашиваете? — вповь оскорбленная тем, что он не смотрел на нее, сказала она. — Отчего же мне не ехать?»

Она как будто не понимала значения его слов.

— Разумеется, нет никакой причины, — нахмурившись сказал он.

— Вот это самое я и говорю,— сказала она, как будто равнодушно улыбаясь и заворачивая длинную душистую перчатку».

Все реплики Толстой сохраняет в неприкосновенности, но изменяет последние пояснительные слова от автора: «...сказала она, умышленно не понимая иронии его тона и спокойно заворачивая длинную душистую перчатку». Это изменение лучше раскрывает внутренний смысл воспроизводимого разговора.

Передавая впечатление, произведенное Анной на Левина, Толстой пишет: «Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею; не красотой ее, как он думал, но умом, образованностью и вместе простотой и задушевностью».

Однако нельзя любоваться кем-то или чем-то частично, с оговороками. Поэтому Толстой изменяет текст этого отрывка: «Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею — и красотой ее, и умом, образованностью и вместе простотой и задушевностью».

Так, Толстой реализовал важнейший закон своего художественного творчества, который сформулировал: «Как ни странно это сказать, а искусство требует еще гораздо большей точности, *précision*, чем наука».

3

Н. Н. Страхов, наблюдавший за правкой журнального текста романа «Анна Каренина» при подготовке его издания отдельной книгой, писал: «Я довольно скоро убедился, что поправки Льва Николаевича всегда делались с удивительным мастерством, что они проясняли и углубляли черты, казавшиеся и без того ясными, и всегда были в духе и тоне целого... Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает каждое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетильного стихотворца».

Отмечая в этой характеристике исключительную смысловую точность Толстого, который дорожил каждым словом, «малейшим своим выражением» не хуже щепетильного стихотворца, Страхов не случайно упоминает о поправках «в тоне целого».

Толстой справедливо полагал, что слова и выражения в литературном произведении должны быть обращены не только к воспроизводимой действительности, но и к другим словам и выражениям, входящим в строй того же произведения. Сочетание их за-

висит от произведения в целом. Стремясь к смысловой точности сказанного, писатель должен заботиться не только о соответствии словесного образа тому, что изображается, но и о связи слов и выражений со смыслом целого: сюжетом, характером действующих лиц, авторскими принципами изображения и манерой повествования, в конечном итоге — с общим идейным замыслом произведения.

Отсюда огромное внимание Толстого к тону повествования, который должен быть единым и соответствовать авторскому отношению к изображаемому. При работе над своими произведениями Толстой часто вносил изменения для того, чтобы создать единство тона. Так было и при подготовке текста «Анны Карениной» для отдельного издания.

Описание разговора Левина и Анны содержит в журнальной публикации такую фразу: «Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто (это была мысль, которую он слышал от брата) и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму». Указание на то, что эту мысль Левин слышал от брата, Толстой снял в последующих изданиях романа: своим комизмом оно нарушило тон серьезного повествования о том, как Левин, восхищаясь умом и красотой Анны, стремится заинтересовать ее своими суждениями.

Добиваясь единства тона, Толстой подвергает правке реплику Левина, в которой он, отвечая на вопрос Стивы, говорит о своем отношении к Анне: «Да,— задумчиво отвечает Левин,— необыкновенная женщина. Не то что умна, но сердечна. Но все-таки ее положение, должно быть, тяжело. Ужасно жалко ее».

Оценка Анны как необыкновенной женщины требует иного эмоционального ключа: большего восхищения, большей экспрессии. Толстой добавляет слово «удивительно», которое оживляет эпитет «сердечная». Предпоследняя фраза снята как вялая и логически вытекающая из последующей. Последней фразе Толстой придает восклицательную интонацию: «Да,— задумчиво отвечал Левин,— необыкновенная женщина. Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!».

Глава, где описывается самоубийство Анны, в журнальной публикации романа оканчивалась так: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, горя, обманов и зла книгу, затрещала, стала меркнуть, вспыхнула, и все потухло». В последующих изданиях это место изменено: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Как видим, Толстой не только детализирует описание, но и сво-

дит его к одному поэтическому образу свечи, добиваясь единого, цельного эстетического впечатления.

«К числу достоинств Тютчева как поэта,— вспоминает личный секретарь Толстого Н. Н. Гусев,— Лев Николаевич относит то, что он всегда выдерживает раз взятый тон». Это достоинство было свойственно и художественным произведениям самого Толстого, к нему он стремился при литературной правке.

Подчеркивая необходимость тщательного совершенствования художественной формы литературного произведения, Толстой писал: «Пословица говорит: скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а я говорю: скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается. И это так и должно быть, потому что дела самые большие разрушаются и от них ничего не остается, а сказки, если они хороши, живут очень долго».

По мнению Толстого, совершенство формы литературного произведения — это следствие упорного, кропотливого труда. «Чем ярче вдохновение,— говорил Толстой,— тем больше должно быть кропотливой работы для его выражения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда, чтобы вышло так просто и гладко» (Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым).

Вместе с тем Л. Толстой считает, что деятельность художника слова, процесс творчества проходит по определенным законам. «В деле писания,— утверждает Толстой,— есть свои внутренние законы, которых не преидеши: и не напишешь ничего, когда не по этим законам, и не удержишься от писания, когда нужно».

Литературная правка Льва Толстого подчинена определенным закономерностям: совершенствуя стиль произведений, Толстой стремится к простоте, точности и единству тона повествования.

Вл. КОВАЛЕВ

*В ближайших номерах «Русской речи»
читайте статьи о языке и стиле*

*В. А. Жуковского, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского
С. А. Есенина*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ



оплощенная автором в литературном произведении определенная система изобразительных средств воспринимается последующими поколениями в иной, обусловленной развитием языка лингвистической ситуации. По этой причине некоторые элементы художественности могут претерпевать известные изменения — становиться более или менее выразительными и даже выступать в несколько иной роли.

В языке получают отражение изменения в образном мышлении людей, в конечном счете обусловленные разнообразными и сложными переменами в материальной и духовной культуре общества. Обыкновенно эти изменения очень тонкие, незаметные, их трудно связать с определенными событиями и явлениями в жизни общества. Только в отдельных, редких случаях связи эти в какой-то степени могут быть установлены при определении обстоятельств, вызвавших перемену. Такие обстоятельства многообразны. Одно из них — выпадение языкового элемента

из широкого употребления. Отражение подобного случая встречаем в стихотворении И. С. Никитина «На пепелище»:

Упорной работы соха не сносила,
Ломалась, и в поле другая ходила,
Тупилось железо, стирался сошник,
И только выдерживал пахарь-мужик.

Несмотря на то, что в русском языке глаголом *ходить* обозначается передвижение не только живых существ, но и самых различных предметов, его появление в данном случае, когда говорится о сохе, представляется не совсем обычным, свежим, неожиданным, связанным с художественным изображением пахоты. Иными словами, его употребление в таком контексте воспринимается как новое. Между тем прежде выражение *соха ходила* было обыденным на Руси и в этом значении свободным от художественных функций. Его мы обнаруживаем в составе известной старинной формулы *куда соха* (или *плуг*), *серб, коса и топор ходили*, определявшей до развития межеванья объем земельных владений. Позднее, когда развилось межеванье, указанная владельческая формула утратила реальное основание, и, выпав с нею из широкого употребления, давнее выражение *соха ходила* отложилось в отдельных крестьянских говорах лишь в конкретном значении 'пахала'.

Вероятно, отголосок представления, воплощенного в этом выражении, отозвался в словах персонажа *пустить следом (соху — Андреевну)* в произведении другого писателя — уроженца воронежских мест: «[Илья Евдокимыч:] Ее [землю] как разодрать плугой, да как пустить следом соху — Андреевну, да расчесать железными зубьями, да выворотить материк, так тут что твоя новь: любое сей!..» (Эртель. Смена). Ср. также: «Под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков» (Бунин. Суходол). Для поэта Никитина это выражение было своим, вседневным. Применительно к той эпохе и среде, в которой он вращался, видеть в данном выражении потенциально художественный элемент как будто не приходится.

Перед нами — один из примеров того, как утратившее реальную основу и потому превратившееся в историзм старинное выражение оживает в несколько ином значении, осознается в качестве свойственного местной крестья-

янской речи и, введенное в литературное произведение в виде крестьянского обиходного, воспринимается впоследствии как специфически художественное.

Изменение смысловой структуры того или иного языкового элемента могло вызвать изменение внутренней формы его художественности. Пример подобного рода находим в повести И. С. Тургенева «Несчастная». В ней обрусевший иностранец, проявляя показной патриотизм, упомянув имена малолетних детей, о жене из немок говорит: «И писклятам своим все такие русские имена понадавала!.. Того и смотри в греческую веру их перекрестит!». В современном 17-томном Словаре русского литературного языка этой цитатой иллюстрировано следующее значение слова *пискленок*: 'тот, кто много пищит (обычно о птенце, ребенке)'. Как видим, в современных условиях смысловая структура слова *пискленок*, а тем самым, понятно, и внутренняя форма его художественности, определяются в первую очередь словопроизводственной связью с глаголом *пищать*. Но так ли было во времена Тургенева и в той лингвистической обстановке, в которой протекало его творчество? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на другой пример употребления слова *писклята*. Помимо обрусевшего иностранца, его у Тургенева в аналогичном смысле и явно в экспрессивном плане употребляет и русский помещик, поэтому усматривать в первом случае погрешность против русской речи оснований нет. Приведем этот, второй случай: «Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он [отец Лизы] не скупясь давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей; но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами,— да и некогда ему было нянчиться с ними...» (Дворянское гнездо).

Если ныне в сознании носителей общего русского языка слово *пискленок* ближайшим образом соотносится с *пищать*, то в XIX столетии в тех языковых условиях, которые могли оказывать влияние на формирование языка Тургенева, соотношенность этих образований была не прямой, а несколько опосредствованной: в обширной южновеликорусской области, а возможно, и за ее пределами, слово *пискленок* в полной мере в номинативно-нейтральной функции заменяло слово *цыпленок*. Ср. в Словаре В. И. Даля: *пискленок* 'птенец'. Употребление слова *пискленок* на юге в том же самом значении

широко отмечалось наблюдателями за последнее столетие. Слово это, хорошо знакомое уроженцу юга Тургеневу, выражает у его персонажей образную характеристику детей не столько по свойственному им «писку», — этот момент в характеристике, возможно, и отсутствовал, — сколько основанную на сравнении их либо вообще с птенцами, либо, конкретно, с цыплятами. Как видим, образное название детей словом *писклята* у Тургенева и в наше время восходит к разным истокам, самая природа художественности в этих случаях разная. Довольно широко распространенное в прошлом в русских народных говорах, образование *пискленок* в современном языке употребляется как разговорное.

Изменение претерпевают и лексические диалектизмы сравнительно узкого распространения. Пример подобного рода встречаем в одном из бунинских текстов.

Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад! (Бунин. Деревня).

Определение *главный* в данном случае настолько неожиданно, необыкновенно, что представляется фактом исключительно индивидуального словоупотребления автора, порождением его творческой фантазии. Однако для южновеликоруса Бунина *главный* в значении ‘хороший, лучший’, хотя и не лишенное известной выразительности (почему и использовано в «Деревне»), не было все же необыкновенным и специально экспрессивным, поскольку звучало обыденно в его родном орловском говоре. Не попавшее с такой семантикой даже в Словарь Даля, оно и поныне кое-где известно в Орловской области. Нам довелось, например, слышать в орловских местах выражения: *гусь главный* ‘хороший, упитанный’, *картошки главные* ‘хорошие, лучшие’. Рождаясь в качестве экспрессивных, словосочетания такого типа с течением времени в диалектах становились менее выразительными, относительно привычными (ср. заурядное употребление в тех же самых говорах структурно аналогичных словосочетаний, вроде *сильные яблоки, сильные картошки* — о большом урожае этих культур). Экспрессивное употребление прилагательного *сильный* в сходном значении ‘обильный’ — явление давнее: «милостыню силноу раздавашеть, странья любя и нищя кормя» (Ипатьевская летопись. 1187 г.). Ср. в сопредельном смысле ‘роскошный, пышный’: повелѣ Гюрги оустроити ѡбѣдъ силенъ и

створи чсть великоу имъ и да. Стославоу дары многы» (Ипатьевская летопись. 1147 г.).

Необычайность, экспрессия определения *главный* в примере из бунинской «Деревни» проявляется вследствие того, что оно стоит при таком определяемом, обычные определения которого (*сладкий, холодный* и т. п.) в общем русском языке основаны на ином принципе (на чувственном восприятии). Введенное тонким художником слова в такую лингвистическую ситуацию, где образования подобной структуры необычны, словосочетание *самый главный лимонад*, вполне естественно, оказалось особенно экспрессивным. В наши дни его экспрессивность выступает еще ярче: у современных носителей общего русского и, тем более, литературного языка в связи с глубокими культурными преобразованиями особенно обостренное восприятие общенародной литературной нормы, а следовательно, и всех явлений контрастного характера. Кстати, о наличии в прилагательном *главный* предпосылки к развитию оттенков качественности свидетельствует литературный словарь начала XIX века. Здесь к значению 'первый, начальный' в ряду других иллюстраций встречаем и такую: *Иметь главное смотрение* (Словарь Академии Российской. 1806).

Приведем еще один пример расхождения между функцией слова, если можно так сказать, заданной ему автором, и функцией того же слова, развившейся впоследствии в иной языковой обстановке, близкой к современной. В наречии *нечувствительно* еще в минувшем веке выступало ныне почти забытое значение 'незаметно'. Вот как толковалось это значение в словарях: 'не делая впечатления на чувства; неприметно для чувств, непостижимо чувствами'. *Время течет нечувствительно* (Словарь Академии Российской. 1814); 'без ощущения, неприметно'. *Время летит нечувствительно. К хорошему привыкаем нечувствительно* (Словарь церковнославянского и русского языка. 1847). Ср. в художественных текстах: «Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями» (Пушкин. Рославлев); «Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил» (Гоголь. Коляска); «Чем чаще они виделись, тем больше сближались нравственно, тем роль его становилась оживленнее: из наблюдателя он нечувствительно перешел в роль истолкователя явлений, ее руководителя» (Гончаров. Обло-

мов). В наше время *нечувствительно* с таким значением в художественном произведении производит впечатление специально экспрессивного. Объясняется это тем, что с утратой прямой семантической связи между *незаметно* и *нечувствительно* смысловые связи между ними полностью не нарушились: они осуществляются через посредство соответственных прилагательных и являются ассоциациями «в полутонах». Стилистически они различаются: нейтральное выражение значения сосредоточено в *незаметно*, а его экспрессивное выражение — в образовании *нечувствительно*.

При изучении системы изобразительных средств литературного произведения невозможно не принимать во внимание изменения, происходящие под влиянием новой лингвистической обстановки.

Доктор филологических наук
С. И. КОТКОВ



Любителю этимологии

Одна из основных задач этимологического анализа слова — найти его древнейший корень и тем самым установить первоначальное значение, ту связь понятий, которая легла в основу названия. С этим тесно связана другая задача — показать, каким путем изменился смысл слова, как из первоначального его значения возникло современное.

При всем разнообразии таких изменений существуют типичные смысловые сдвиги, характерные для всех или многих слов, сходных по значению — входящих, как часто говорят языковеды, в одно «семантическое (смысловое) поле».

Показательно, например, сходство в происхождении таких слов, как: горе, печаль, забота, тоска, стыд, грусть, скорбь и т. п. Все они обозначают внутренние эмоциональные состояния человека, так или иначе связанные с тяжелыми, неприятными переживаниями, беспокойными мыслями. И во всех них первоначальный корень обозначает отнюдь не моральное, душевное состояние, а вполне материальное, физическое ощущение.



Некоторые из них восходят к корням, обозначающим тепловые ощущения — холод или, наоборот, жар. Это вполне понятно: ведь известно, что от глубоких переживаний человека подчас бросает и в жар и в холод; температурные признаки здесь — верный «барометр» душевного состояния. Именно такая связь понятий легла в основу слов *горе* и *печаль*: первое из них происходит от глагола *гореть*, а второе — от глагола *печь* (точнее — от не сохранившегося в языке глагола *печати* того же значения). Названия эти говорят нам о том, что горе и печаль «сжигают» человека. Заметим, что от того же глагола *печь* — *пеку* происходят и другие слова, обозначающие несколько менее острые состояния: *печься* 'заботиться, беспокоиться', диалектное *пéча* 'забота, хлопоты', *опекать* (откуда *опека*), *попечение*.

От корня с противоположным «тепловым» значением происходит слово *стыд*: оно связано с глаголом *студить* (чередование *у* : *ы*); из значения 'холод' получилось 'срам, позор', а в древности также 'беспокойство': ср. древнерусское *стужатися* 'беспокоиться, заботиться'. А слова *мерзкий*, *мерзость* — того же корня, что и *мороз* (тоже с чередованием): *мерзкий* — первоначально 'вызывающий ощущение сильного холода'.



Другие слова этой понятийной группы происходят от корня со значением 'есть, съедать'. Так возникло слово *забота*, которое в некоторых говорах (окающих) звучит как *зобóта* и образовано с помощью суффикса *-от(а)* от глагола *зобáть* 'есть, клевать', употребляющегося ныне в севернорусских диалектах (отсюда и слова *зоб*, диалектное *зобь* 'ппца, еда'). Кстати, В. И. Даль приводит диалектное выражение «Не зоблись обо мне», что значит 'не беспокойся'.

Рядом с *заботой* можно поставить слово *грусть*. Если забота, судя по названию, «ест, съедает» человека, то грусть — «грызет». Корень здесь тот же, что и в глаголе *грызть* (чередование *ы : у*). Отметим, что от этого глагола образовано и слово *грыжа*, которое в украинском языке означает «печаль, огорчение», а в болгарском — «забота» (в русском оно стало названием болезни). Отсюда следует, что, когда любители архаичных высокопарно-образных выражений говорят, что их *грызет червь тоски или сомнения*, они не так уж далеки от того представления, которое в древности легло в основу названия *грусть*. Вполне уместно привести здесь и пушкинское «Грусть-тоска меня съедает» (Сказка о царе Салтане).

Слово *скорбь* происходит от глагола *скорбнуть*, который и сейчас употребляется в диалектах, означая «сохнуть, засыхать, коробиться, сжиматься». Для сравнения вспомним, что и слово *сохнуть* имеет в современном языке переносное значение «страдать (от любви)». Тот же корень, что в *скорбь*, но с чередованием *о : е* (перед *е* сочетание *ск* в древности изменялось в *щ*), содержится исторически в слове *ущерб* — буквально «уменьшение, убыль».

Та же идея уменьшения, но только под влиянием не засыхания, а сжатия, сдавливания, лежит в основе древнерусского слова *туга* «печаль, горе» (оно встречается, например, в «Слове о полку Игореве»); от него в современном языке употребляется производный глагол *тужить*. Исконный корень здесь тот же, что и в словах *тугой, стягивать*. *Туга* — первоначально «стеснение, давление».

Слово *тоска* сперва обозначало «пустоту», причем не «фигуральную», а вполне реальную, физическую. Об этом нам напоминают однокоренные с ним (по происхождению) слова: *тощий* (первоначально «пустой»), устарелое *вогще* «попусту, напрасно», *тщетный* «напрасный».

Приведенный материал можно дополнить словом *кручина*, имеющим в других славянских языках «родственников», сохранивших исходное значение «сгибаться», глаголом *сокрушаться* «тужить, горевать», производным от *крушить* «разрушать» (первоначально «толочь, дробить на мелкие части», ср. родственные *кроха, крошить*), и другими. От физического действия, ощущения — к душевному — таков основной путь развития значения приведенных здесь слов и им подобных.

Знание наиболее типичных изменений значений слов помогает языковедам в этимологических разысканиях, в установлении «родословной» слов, происхождение которых еще неясно.

(Продолжение в следующем номере)



«Преданье старины глубокой» — так называется книга Виталия Губарева (редактор Л. Архарова), выпущенная в 1970 году издательством «Малыш» для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

В письме из Богородска Горьковской области Т. Иголь обратилась к «Русской речи» с просьбой разрешить недоуменные вопросы, возникающие в связи с употреблением в этой книге древнерусских слов и форм. Тираж книги большой — 150 тысяч, поэтому, вероятно, вопрос, поднятый в письме, волнует и других читателей.

Тема ее — наше прошлое, любить и уважать которое словами Ф. Энгельса («Уважение к древности есть признак истинной просвещенности...») и М. Горького («Учитесь любить Русь ...») в эпиграфе призывает В. Губарев. Сюжет — приключения двух школьников-новгородцев, Тани и Игоря, по волшебству феи Мечты попавших в Новгород 882 года, может быть, и увлекает детей. Взрослых книга поражает прежде всего «необычностью» приводимых в ней фактов и небрежностью языка.

Автор пишет о жизни Новгорода конца IX века, времени, сведения о котором — скудные, отрывочные, а иногда и противоречивые в древнейшем новгородском летописном своде (составлялся в XI веке) — обросли легендами в последующих сводах. Тонкости летописных рассказов и их научная критика, очевидно, не известны В. Губареву, как

не известны ему и данные археологии. В результате получилось новое «предание», ничего общего с историей не имеющее, кроме имен князей и даты похода на юг.

Только из этой книги можно, например, узнать, что отец князя Игоря Рюрик был, якобы, *убит хазарами* (стр. 23), а мать была *сестрой князя Олега и умерла от студеницы* (? — 22 — 23), что Аскольд и Дир — имена варяжские, а вот Олег и Игорь — *русские*. В действительности все четыре имени варяжского происхождения. Оказывается, о походе князь советуется не с дружиной и старейшинами, а с вече (!), что новгородский вечевой колокол был *куплен Олегом*, и не у кого-нибудь, а *у римского папы*, да еще *в 872 году* (36), что *тиуны* в это время ходили с *бердышами* (14—15). Известно, что бердыш — холодное оружие в виде широкого закругленного топора на высоком древке — принадлежность воина XIV—XVII веков. Можно найти в книге много других, не менее удивительных сведений, в том числе и из области астрономии, подробно останавливаться на которых здесь нет возможности.

Наука не располагает данными о наличии у восточных славян развитого письма по крайней мере до X века. По В. Губареву, уже в 882 году *речи князей на вече записывались* и притом *специально выделенными людьми* (40). А для заболевшей матери князя Игоря были «выписаны лекари заморские» (22). Поход на юг, известный в Повести временных лет под 882 годом, изображен как «первый в истории поход за объединение Руси» (76), «за вельми великую Русь от моря Русского до Ледового окияна» (73) — представления гораздо более позднего времени!

Стилизация — художественный прием, которым широко пользуются писатели при воспроизведении прошлого, проявляется в использовании слов, вышедших из употребления или изменивших значение, иногда также устаревших языковых форм и оборотов. Всякая стилизация предполагает знание описываемой эпохи и тех средств, которыми располагает язык в его современном состоянии и располагал в прошлом. В степени употребления архаизмов и их мотивированности в тексте проявляется художественный вкус писателя. Слова *платно, вельми, паки, отроки, еси, токмо, кои, аки* и другие, которыми нестрит не только речь героев книги В. Губарева, но и авторское повествование, не прибавляют художественных достоинств, а только затрудняют чтение. Сочетания их с новыми словами, особенно поздними заимствованиями, производят странное

впечатление, например: «Со стороны шествие их выглядело *вельми комично*» (52).

А ошибки в употреблении древнерусских форм! «Кто вы еси?»; «я еси»; «так еси» — такими сочетаниями наполнена книга. Но *еси* — форма только 2-го лица единственного числа. В других лицах глагол *быти* имел иные формы: есмь, есть, есмъ, есте, суть, есвѣ, еста. *Отче* — звательная форма слова *отец* (отъць) уместна только в обращении. Поэтому недопустимо употребление ее в роли обычного именительного падежа, как на стр. 12, 14: «отче нету, мати нету»; «где твои отче и мати?».

Никакими нормами, ни современного языка, ни древнерусского, не объяснить формы *хазаринов*: «освободи землю нашу от хазаринов!» (44), хотя чуть выше правильно: «хуже хазар» (ср. татарин — татар, хазарин — хазар). *Меря, весь* (названия народов) — собирательные существительные вопреки правилам грамматики приобрели форму множественного числа и написаны к тому же с прописной буквы: «от самого Русского моря до моря Варяжского и далее до Ледового окияна, где живут малые народы Чудь, Мери, Веси, кои бились плечо к плечу с нами супротив варягов, — называется земля одним святым словом — Русь!» (42). Кстати, о терминологии: «малые народы» — неуместно для IX века, когда еще трудно говорить о народах, больших или малых, а говорят о племенах. Слово *глад* — ярко выраженный старославянизм (древнерусское *голод*), уместный в речи церковного лица, нелепость в речи подростка-язычника.

Значения устаревших слов и выражений в детском издании должны всегда разъясняться. Правильность объяснения при этом предполагается, как само собой разумеющееся. Однако в книге «Преданье старины глубокой» объяснения даны с ошибками. Известное и сейчас слово *чресла* 'поясница, бедра' (из старославянского языка, русское *чересла*) превратилось здесь в *череса* (все четыре раза!) и сопровождается на стр. 12 разъяснением: 'тело'. фраза, рассчитанная на то, чтобы вызвать сочувствие к малолетнему князю, способна вызвать только смех: «Холод череса и сердце пробирает!» (52). Ярило — имя бога любви и животворящих сил природы у славян-язычников выступает как синоним солнца, хотя небесное светило у всех славян и всегда называлось так же, как теперь. Сближение солнца с богом любви и животворящих сил природы возможно, но не в таких конкретных фразах: «Надо бы

завершить все ратные дела за лето, пока жарко светит ярило ...»; «Один я еси и в хижѣ, и на всем свете под ярилом ...» — «Один я на всем свете под солнцем, — перевел Игорь, подумав» (12). И пишется каждый раз *ярило* со строчной буквы. Чтобы не приняли за божество? *Свиония* — древнее название Швеции объяснено, как Греция (36); *ябедник* 'должностное лицо в суде' — «княжеский чиновник» (30—31); *рядович* 'человек, находившийся в зависимости от господина по ряду, договору' — «простолюдин», то есть, по терминологии буржуазно-дворянского общества, человек, не принадлежавший к привилегированному слою населения (30, 34).

Слова и понятия *задушный холоп*, *чур*, *куна*, *лучший муж*, *мед* 'хмельной напиток', *весь* 'селение', *паче*, *лойва*, *викинг*, *Варяжское море* остались в книге необъясненными, и, может быть, к лучшему. Заметим, что без многих из них можно было бы обойтись. Слово *платно* (один раз *плато* — опечатка?) употребляется автором со значением 'платье' и почему-то не склоняется: «на том и на другом затканное серебром белое плато с длинными рукавами» (19); «а ты мое княжеское платно на свои череса наденешь» (32); «расстегнув ворот своего платно» (31). Современное *платье* и старославянское *платьно* (древнерусское *полотьно*) — слова одного корня, но обозначали они разные вещи. Кстати, несклоняемые существительные типа *пальто*, *метро*, *кино* в современном русском языке — заимствования позднего времени, а в древности несклоняемых существительных не было. Представить себе *терем с бесчисленными подклетьями* так же трудно, как и один дом с несколькими первыми этажами: «У ворот скучающий стражник принял у тиунов пленников и повел их в княжеский терем с бесчисленными клетями и подклетьями» (17). Подклетью в русском деревянном зодчестве называют нижний этаж дома, избы, служивший для жилья или хранения чего-либо. Очевидно, «бесчисленные клетки и подклетки» мог иметь двор, но не терем.

Само древнерусское слово под пером автора (или, может быть, редактора?) изменено порой до неузнаваемости. Так, *гривна* стало вдруг словом среднего рода: одно гривно. Древнерусское *рабичич* 'сын рабыни' стал *рабочичем*. Уж не по аналогии ли с современным *рабочий*? Откуда взялось слово *ишханы*? Может быть, это венгерское *ишпаны* (*ispán* 'управляющий, магнат, поставленный королем во главе крепости и окружающих ее территорий')? Но кто и

когда называл так новгородскую знать? Что укреплено на княжеском шлеме — *еловец* 'лоскуток в трубке' или *еловица* (?) — так и остается неясным: «с голубым еловцем» и «голубые еловицы» (73).

В. Губарев, видимо, и не подозревает, что, вложив в уста князя Олега явно изобретенное слово, он назвал школьников не «близнецами», как того, очевидно, хотел, а чем-то вроде «двойные обжоры». «Игорь и Таня подошли к креслу. „Кто вы еси, отроки?“ — услышали они уже знакомую фразу. „Брат и сестра“, — сказал Игорь, передохнув. Олег усмехнулся. „Вельми похожи! Двоядцы?“ — Да, двояшки ...» (19—20). Древнерусское *ядец*, *едец* (*ядьць*, *ѣдьць*) означало 'охотник поест' (ср. *тунядец* 'дармояд'). Слово *близнец* (близньць, близнь ата) с современным значением существовало и в древности.

Не все благополучно в книге и с современным русским языком. «Ты один виноват, что ее обрядили покойницей» (23). Обрядить можно кого-либо во что-нибудь — в шубу, платье. Нарядить можно и кем-нибудь — шутом, матросом, то есть человека, не являющегося в действительности матросом, представить им внешне. В тексте речь идет об умершем человеке. «Таню и князя Игоря волхвы *везли* на своих борзых конях бесцеремонно и жестоко» (58) — определение, не сочетающееся с данным глаголом. «Игорь и Таня стояли *у порога Входной двери в самом центре палаты*, тревожно озирались» (18). Дверь может быть расположена в центре какой-то стены, плоскости, но не палаты, помещения. «Простой люд ... *со всех концов улиц*» (36). Улица имеет два конца, то есть два предела в длину, а вот древний Новгород, по крайней мере с XI века, действительно делился на три конца, то есть части. Бердыш — холодное *оружие* — разъяснен как *орудие* (14).

Перечень языковых и фактических несообразностей можно было бы продолжить. Их легко обнаружить буквально на каждой странице книги В. Губарева.

Всякое произведение на историческую тему, особенно детское, ценно прежде всего суммой сведений, которые оно в себе заключает. Книга, написанная «по мотивам истории», изобилующая разного рода ошибками, способна принести только вред, так как дает неверное представление об описываемой эпохе, а в дальнейшем порождает бездумное отношение к истории, приучает к вольному обращению с фактами.

Т. А. СУМНИКОВА

Уважаемая редакция!

Термин *страда* происходит от слова *страдание*.

И действительно, в дореволюционное время, в условиях эксплуатации труда человека, напряженная летняя работа, связанная с косью, жатвой и уборкой урожая, была для крестьян страданием.

В нашей советской действительности, когда труд является не только потребностью человека, но и источником радости и глубокого внутреннего удовлетворения, гермин *страда*, применяемый в нашей печати, при обозначении, характеристике отдельного или всего цикла летней работы по сбору урожая хлеба, не только не отражает, но искажает социальный смысл и значение труда тружеников села. Поэтому, на мой взгляд, термин *страда* должен быть заменен в печати словом *период* или *время* («наступил период жатвы» или «наступило время уборочных работ»).

Пожалуйста, сообщите — правильно ли я рассуждаю, а также полезно ли мое предложение. Если же я ошибаюсь, то в чем заключается моя ошибка.

И. Н. Должанский
Ленинград



РАДОСТЬ

ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЕ

Товарищ Должанский не одинок в своем стремлении что-то изменить или убрать из нашего словаря. Или, наоборот, чем-то его дополнить. Письма с такими предложениями не однажды приходилось получать и мне. Читая их, невольно вспоминаешь мудрое высказывание А. М. Горького о том, что самая легкая работа — это разрушать.

А теперь по существу. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова действительно говорится: *страда* — «тяжелая летняя работа в период косы, жнитвы и уборки хлеба»; в переносном значении — «тяжелый труд, борьба».

Но скажите, уважаемый И. Н. Должанский, не станете ли вы утверждать, что в советских родильных домах женщины родят без страдания, поскольку это советские женщины? Можно застеклить рынок, чтобы было тепло покупателям, можно провести в помещение рынка отопительные батареи. Но как застеклишь и утеплишь небо над колхозными полями? Льются дожди, иногда холодные, иногда вперемежку со снегом, дуют пронизывающие ветры, поеживается земля. Природа, даже советская, остается природой, а сенокос или уборку надо завершить в срок: ведь наступило время, когда «день — год кормит!» Что же, приходится пострадать матери, что родит на свет сына, а потом сполна испытать радость материнства. Надо пострадать поэту, который через муки творчества идет к радости! А что касается уборочной страды ... Помните?

Раззудись рука, размахнись плечо,
Ты пахни в лицо, ветер с полудня!..

А. Кольцов, певец народной скорби, и тот видел в слове *страда* не только страдание! Неужто радость в одном ничегонеделанье!?

А помните из «Родины» Лермонтова: «С отрадой многим не знакомой, я вижу полное гумно» (разрядка моя.— А. М.). Полного же гумна не бывает без страды. Но в полном гумне — залог крестьянского, да и не только крестьянского счастья.

Испокон веков так думал наш народ. Не потому ли родились песни, связанные с весенним севом, сенокосом или жатвой? Не радостью ли труда объясняются нарядные платья, которые одевали крестьяне в страду? А праздники — первого снопа, первого каравая!

Кто не умеет страдать, не умеет и радоваться! «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» — говорил Пушкин. Животные — не умеют страдать, они могут испытывать лишь боль, но не страдание. А человек...

...Страдать надеждами свиданья,
Страдать пространствами разлук,
Страдать, что есть вокруг страданья,
Что кто-то корчится от мук,
Меж мраком становясь и светом,
Вздываясь, падая в боях!
Страданья создают поэта
И в этом радость бытия!

Теперь несколько о другом. В Этимологическом словаре А. Преображенского слово *страда* помещено в статье

«Страдание», но утверждается, что слово это восходит к общему индоевропейскому корню *стрео*, означающему 'стараться'. В подтверждение справедливости этого не могу удержаться от соблазна привести отрывок из Льва Толстого:

«...Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето.

Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движением, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве.

Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно.

Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрую густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывая брусницу и угощая Левина».

Вот вам *страда*. Что можно прибавить к этому?

Слово — это не просто наименование предмета или явления. Оно имеет свой цвет, свой запах или, еще говорят, что слово эмоционально окрашено. Скажешь «страда» — и щемящая радость пройдет по всем клеткам твоего существа: тут и зарницы, и запахи земли, и золото колосьев, растертых на ладони, и жаворонки, ввинченные в небо, и зной, который так отграничит твое рабочее тело, как не отграничить никакими диетами или заплывами в Черном море. А главное — ощутишь необходимость, потребность свою на земле!

Не знаю, как для других, а для меня это слово впитало в себя звуки, входящие в слово *Россия*. Было время, когда

и слово *Россия* пытались вычеркнуть из нашего языка. Россию называли и распроклятым словом и христомордой Русью. Предполагалось заменить слово *русский* другим — *советский*. А жизнь показала, что советский и русский — понятия, неразторжимо связанные между собой!

Слово *страда* прочно вошло в нашу литературу, его часто и охотно употребляет Некрасов: «В полном разгаре страда деревенская», его выносят в заголовок своих творений крупнейшие советские литераторы. «Севастопольская страда» — назвал свой роман о героической обороне Севастополя Сергеев-Ценский.

И славно, в бодром и радостном ритме поет о летней страде русский народ:

Коси, коса,
Пока роса.
Роса долой,
И мы — домой!

Нет, никакие «период» жатвы или «времена» уборочных работ не заменят нам до боли родной «страды». Пусть живет и здравствует она во веки веков!

АЛЕКСЕЙ МАРКОВ

От редакции. Эта статья продолжает серию наших публикаций о языке радио- и телепередач («Русская речь», 1970, № 4, 5).



СЛОВО В ЭФИРЕ

Сколько раз случалось каждому из нас слышать в репортажах с футбольного поля: «игрок пытается достать мяча», «применен силовой прессинг» и т. п. Тут налицо особый спортивный жаргон, а в результате — искажение родного языка.

На своем «международническом» жаргоне изъясняются по радио и телевидению некоторые политические обозреватели, те, что обильно уснащают свою речь такими перлами, как: «эскалация агрессивности», «интенсификация активности респектабельных де-

ловых кругов», «растущая конвергенция», «ратификация аутентичных текстов» и пр.

Кажется, будто люди боятся прослыть недостаточно образованными, если позабудут упомянуть «прессинг», «эскалацию» или «конвергенцию». Стыдятся выразить свою мысль просто и четко, стесняются привычного склада родной речи, избегают народных речевых оборотов.

Насколько же важно, чтобы в наши дни, при наших мощных орудиях просвещения, при такой громогласности звучащего в эфире слова, мы особенно внимательно и бережно относились к родному языку, к его законам, к его сокровищам, переданным нам нашими предшественниками. Важно, чтобы слово в эфире сделалось ревнителем, а не гонителем всего родного и народного!

Между тем не мало здесь примеров явно неуважительного, небрежного, а порой и просто недоброжелательного отношения к родной речи, к народному культурному достоянию. Недавно, слушая по радио выступление одной колхозницы, я с удовольствием отметил в ее речи сочное, русское словечко: «уморилась на работе», и как же я порадовался, что не успели «отредактировать», не успели вырезать из магнитофонной пленки это прекрасное слово. Потому что нечасто просачиваются в сухую, схематичную, канцелярскую речь, выдаваемую почему-то за речь литературную, слова и выражения из подлинно живого народного языка. Заметно, что большинство выступлений по радио и телевидению проходят через некие языковые «фильтры», выхолащивающие всякую живинку.

И разве только при чтении отрывков из Пушкина, Толстого или Шолохова случается нам вдохнуть душистого ветра и простора, наполняющих настоящую, глубинную народную речь. Возражая против искажения и оскуднения родных речевых истоков, не могу не вспомнить завет величайшего знатока сего предмета Владимира Даля: «...Народные слова наши прямо могут переноситься в письменный (стало быть, литературный.— *И. К.*) язык, никогда не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою, а, напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов».

Работники радио не могут не ведать о большом интересе радиослушателей к вопросам языкознания. Известно, какой широкий отклик получают передачи «В мире слов», «Беседы о русском языке». Не только литераторы, учителя или ученые принимают в них деятельное участие. Люди самых различных отраслей труда, из самых отдаленных краев страны включаются в обсуждение языковых споров. Как же можно по одной радиопрограмме воспитывать любовь к родной речи, а по другой (или, вернее, по другим)

проявлять подчас вопиющую небрежность и нелюбовь к ней. Выходит, воистину: левая рука не ведаёт, что творит правая...

Почему при тщательном «редактировании» живой народной речи у нас на радио допускают столь частые жаргонные обороты из «профессионального» и прочих лексиконов? Почему так легко попадают в эфир вульгарные словоскажения вроде: «слушай сюда», «отдай миндальчик», «он себе гений». Как мог, например, В. Поляков в пьесе для радио написать: «сказать я многое хочу бы». Почему редакторы в данном случае безмолвствуют и не исправляют неграмотную речь?! Невольно приходишь к выводу, что такой язык близок им самим.

Ничем иным не объяснишь, например, прозвучавшее в недавней передаче «Вы нам писали» (редактор Гуна Голуб) развязное подтрунивание над священными для народа именами Пушкина, Гоголя, Толстого. Здесь, якобы в шутиливом виде, рисуется Пушкин, пьющий пиво с Бенкендорфом, в каком-то нелепом положении, загримированный для съёмки, предстает перед нами Гоголь... А сколько подобного встречаем мы в передачах Центрального телевидения!



Немало хорошего, остроумного находят телезрители в студенческой самодеятельности Клуба веселых и находчивых (КВН). Однако нетрудно заметить, что подчас соревнующиеся в остроумии парни и девушки избирают целью своих насмешек героев истории, великих писателей, зло выворачивают наизнанку пословицы, глумятся над народной песней. В одной из передач КВН мишенью для таких недобрых нападков была почему-то избрана русская сказка. С какой-то непостижимой недоброжелательностью третировались здесь все дорогие нам с детства сказочные образы и персонажи: и богатыри, и кудесники, и былинные умельцы, и удалой Иванушка, и любимец малышей Колобок.

Известно, как ценит народ русскую сказку, былинку, песню. Известно, что Горький видел в фольклоре выражение «дум и чаяний народных». Владимир Ильич Ленин не раз подчеркивал, как важно дорожить знанием культуры, созданной всем развитием человечества. Почему же на КВН напрочь отбросили все эти соображения? Почему с таким пренебрежением и цинизмом именуют здесь нашу старину «палеозойскими сказками»? Почему «шутливо» советуют: «отреставрировать памятники старины и потом снести их»? Почему позволяют себе развязно бросить в зал: «Все равно никто сказок Арины Родионовны не знает, кроме Пушкина»?!

А чего стоит еще такая «шуточка»: «Курочка Ряба — это символический образ русской женщины!»

Под туманным лозунгом «Сорвем маски с героев сказки!» кавезиновцы предприняли попытку опрокинуть привычные для нас представления о народном творчестве, о героях нашей истории. Они утверждают, что герой эпоса вещий Олег — всего-навсего «феодал», что под маской Кудесника «скрывается необразованность», легендарный Левша «торгует левым шампанским», «фильм „Война и мир“ не вырубить топором с экрана» и т. п. Некоторые подобные «шуточки» и цитировать неудобно.

Многое, разумеется, следует отнести за счет молодости и горячности. Понятно также, что в импровизации не может быть все удачно. Однако настораживает и тревожит какая-то общая направленность: обязательно осмеять, опошлить, «заземлить» привычное для народа высокопоэтическое отношение к своему культурному национальному достоянию.

На КВН достается не только сказке, но и классической русской литературе, живописи, театру. Кавезиновцы, как с горки, скатываются по полотну картины, копирующей суриковский «Переход Суворова через Альпы», вышучивают суворовскую «Науку побеждать», пародируют «Всадницу» Брюллова, комически изображают смерть Анны Карениной, подтрунивают над чеховским Ванькой Жуковым и т. д. и т. п. Понятно, что такое насмешливое, пренебрежительное вышучивание высоких образцов литературы и искусства способно породить в сердцах молодых телезрителей циничное отношение к трудам своих отцов. А хорошего в этом очень мало!

Вспоминается, как несколько лет назад весь мир облетело сообщение: в Копенгагене, на морском берегу, у бронзовой скульптуры андерсеновской Русалочки какие-то хулиганы отпилили голову. Казалось бы — не преступление, а тоже — «шутка». Ведь не живого человека убили, не памятник герою осквернили. Однако, вероятно, многие помнят, как были взволнованы этим происшествием миллионы людей в самых разных странах. Оскорбили сказку! И что-то с детства дорогое было задето в сердцах людей. В газетах писали, что и у нас находятся моральные уроды, безобразничающие в памятных местах Петродворца и Пушкина. Лично я не могу не поставить в прямую зависимость от бестактных передач телевидения такие безобразные поступки. И вот что вызывает особенное удивление: ни разу ни одна развязная или глумливая «шуточка» участника КВН в адрес творцов и героев отечественной литературы не встретила осуждения ни со стороны жюри, ни со стороны организаторов КВН. Помнится, единственный упрек заслужила неудачная шутка о Ремарке. Складывается впечатление,

что некоторые работники Центрального телевидения прямо-таки поощряют столь грубые и неумные нападки на богатства отечественной нашей культуры. Думаю, что только высокая марка столичного телевидения прикрывает бестактных остряков от резкой критики со стороны зрителей.

Приходит на память еще одна, такого же рода, новогодняя телепередача «В тринадцатом часу ночи». Просто невыносимо было смотреть, как кривлялись взрослые люди, неплохие в общем-то актеры, пытаясь как можно непригляднее изобразить героев народных русских сказок. Оставалось только диву даваться: такая умопомрачительная безвкусица сквозила в каждой сцене этой недоброй передачи! Недело перемешались в этом доморощенном «ревю» голые «ножки» из западных кинофильмов с косматыми лицами «леших» и «домовых», с бултыхающейся в корыте «русалкой»... Надо прямо сказать: авторы передачи проявили полное отсутствие понимания художественности. А о языке этого представления и говорить не стоит: настолько беспомощно, неуклюже и, главное, неумно звучала каждая фраза, вложенная в уста сказочным образам. Получилось опять-таки явное издевательство над творениями народного ума.

Древняя истина гласит: неправильно направленная мысль может причинить больше зла, чем огонь. Хотелось бы знать: откуда возникает стремление очернить и опорочить создания народной мудрости? Кому столь не по душе пришлось наши сказки, былины и легенды? С какой же злою целью ведется это выкорчевывание исконных корней, созданного народом языка и созданных им высоких образцов словесности? Как можно поощрять подобное направление?! Не следует ли нам получше задуматься над словами Ленина о том, что красивое пужно сохранить, взять его, как образец, исходить из него, даже если оно «старое».



Стоит поговорить и о песенном слове... В недавнем прошлом мы почти не слыхали по радио русских народных песен. Во всех программах самодержавно царил джаз-оркестр. Сколько пришлось любителям и патриотам русской песни бить в набат через партийную печать, будить общественное мнение, чтобы не дать извести свою народную красавицу-песню. А ведь песенное слово в эфире — это тоже вопрос большой важности. Прекрасно определил значение песни Н. В. Гоголь: «...Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа». Известно, как ценил, как собирал русские песни Пушкин.

Лермонтов, еще юношей, вписал в свой дневник: «...если захочу вдаться в поэзию народную, то нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях». Песня идет с народом по всем дорогам исторических судеб. Песня воспитывает любовь к родине. И нас не может не заботить, что нашу народную, душевную и глубокую песню теснят на радио и на телестудиях бессодержательные, пустые литературно-музыкальные поделки джазового типа.

Несмотря на старания отдельных музыкальных коллективов (таких, как хор имени Пятницкого, оркестр под управлением Кузова, Северный хор, хор под руководством Свешникова и др.), все же донныне позорно мало и редко знакомимся мы с сокровищами нашей песенной культуры. Очень многое из того, что накопил народ за века и что создаст он в наши дни на своих необъятных просторах, остается за рамками голубого экрана, за рамками звучащих радиопрограмм. Зато какая пропасть песенок-однодневок преподносится нам в облегченно развлекательных программах радиостанции «Юность», исполняется охрипшими от перенапряжения голосами Хиля и Кобзона, выплескивается в эфир незадачливыми творцами передач «Опять двадцать пять», «Вы нам писали», «С добрым утром»... Что же это за песни? Что в них — от души народа, от его истории, от его нынешних забот?..

Сколь гордые и радостные чувства пробуждают у нас в сердцах звучащие в исполнении Ансамбля Советской Армии песни борьбы и мужества, песни, славящие героиню гражданской и Отечественной войн, песни, повествующие о силе народной. Есть подобные удачи и среди новых комсомольских, походных, спортивных песен. Но вот, например, долгое время радиостанция «Юность» усиленно распространяла песню «Бригантина», характеризуя ее достоинства самыми лестными словами. Песня преподносилась чуть ли не как новый гимн молодежи, как произведение, полное комсомольской романтики и героики. Можно ли с этим согласиться? Вслушаемся в песенные слова:

Надоело говорить и спорить
И любить усталые глаза...
В флибустьерском, дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса...

И далее:

Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошей уют.
Свищет по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют...

и т. д.

Слова — звучные, красивые. Однако о чем идет речь в песне? Для справки скажем: Флинт — имя морского разбойника, Роджер — пиратский флаг, «флибустьерское море» — бандитское море.

Где же тут комсомольская романтика и героика? И зачем выдавать застольный гитарный романс за молодежный гимн? Слово, попавшее в эфир, слишком ответственно, чтобы так легко бросаться им. Песня «Бригантина» не зовет к подвигам, а как раз наоборот — уводит от жизненной борьбы и героики в мир псевдоромантических грез. Чего стоит один запев: «Надоело говорить и спорить»!.. То есть: «надоели серые будни. Да здравствует ветер пиратских морей!». Но черный пиратский флаг и флибустьерская героика никогда не были (даже в метафорическом смысле!) родственны нашей комсомольской, боевой, революционной романтике.

Правда, за последнее время злополучная «Бригантина» успевает потонуть в волнах забвения. Но ее псевдоромантические мотивы отзывались в некоторых других напевах современных трубадуров и менестрелей, которых искусственно выращивает все та же радиостанция «Юность». Отголоски «Бригантины» слышатся в недоброй песенке про хромого короля, превратившего наш национальный боевой клич «ура» в потешное и визгливое «уря-уря». Слышатся они в исполнении жаргонных, полублатных песенок нынешнего «менестреля» Высоцкого, в доморощенных шейках и твистах Шаинского, Гаджикасимова, Пляцковского и других. Недобрую службу сослужим мы нашей молодежи, распространяя (за счет истинно прекрасных народных песен!) незрелые, легковесные музыкальные изделия, гонящиеся за образцами чужеземной моды.



Приведу еще один пример не слишком продуманного отношения к значимости слова, звучащего в эфире. Причем, призываю рассматривать слово с его смысловой стороны. Как известно, на телевидении уже не один год трудится, развлекая зрителей, так называемый веселый кабачок «Тринадцать стульев». А почему, собственно, он так именуется? Не трудно догадаться, что название сие дано в подражание известному сатирическому роману «Двенадцать стульев». В веселом кабачке рассказывают и пересказывают собственные и чужие анекдоты, с переменным успехом разыгрывают комические сценки, не совсем скромно заимствуют польские песни, накладывая на чужие голоса собственную мимику и артикуляцию. Ну, а причем же все-таки вышеупомянутые стулья, причем тут Ильф и Петров? Видимо, авторы передачи решили позаимствовать не только польские голоса, но еще и частичку той популярности, что выпала на долю романов о «великом комбинаторе». Не сатирической строчкой из Чехова или Маяковского

наименован кабачок — куда этим классикам до славы Остапа Бендера! Дивное дело! На недосягаемый пьедестал вознесли Остапа его поклонники!

Подумайте только: и «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» поставлены на сцене театров, сняты в кино. Не раз эти спектакли показывались по телевидению. «Литературная газета» еженедельно прославляет сии произведения, поскольку последняя страница газеты называется не иначе как «Клуб 12 стульев». Там же выпускается стенгазета «Рога и копыта», проводятся конкурсы имени Птибурдукова. И вот к «Двенадцати стульям» прибавились еще тринадцать... Из нелишенных недостатков двух романов их почитатели сделали буквально библию наших дней.

Не далее, как в декабре минувшего года по центральному радио в предельно безвкусной передаче «Шерлок Холмс и Остап Бендер» (авторы Ст. Рассадин и Б. Сарнов) снова в который раз велась навязчивая пропаганда вульгарных острот «великого комбинатора».

Критик В. Бушин писал в журнале «Октябрь», что в кинофильме «Золотой теленок» главный персонаж преподносится нам уже не как ловкач-проходимец (что соответствовало бы содержанию книги!), а как: «свободный художник, враг пошлости и формализма, бессребренник, альтруист, мечтающий о бескорыстном служении обществу...». Далее критик справедливо шутит, что при таком возвеличивании авантюриста Остапа Бендера одна из улиц Одессы вскоре может быть названа его именем. Однако шутки шутками, но пора задуматься и всерьез. В свое время сатирический герой Ильфа и Петрова накликал на себя слишком уж резкий огонь «снайперов критического пера». Но зачем же нынче вдаваться в противоположную крайность? Зачем преподносить в качестве положительного примера (даже и с юмористическим оттенком!) врага общества, гангстера с набором отмычек и фальшивых бумаг?!

Ни пираты-флибустьеры, ни веселый бандит Остап Бендер, ни его прототип, одесский налетчик Беня Крик никак не могут претендовать на высокое звание героев нашего времени, и не стоит нам слишком заигрывать со злом. Даже в Америке прогрессивные деятели нынче понимают, к чему привела бесконтрольная пропаганда гангстерских кинофильмов, насколько увеличила рост преступности манера изображать в романтическом свете грабителей, проходимцев, любителей легкой наживы. При столь ревностном, как ныне, воспевании правонарушителя из города Черноморска мы можем принести не меньше бед сегодняшней молодежи нашей страны.

В руках у работников радио и телевидения — огромная сила. Слово в эфире — это наше боевое оружие. А голубой огонек телеэкрана — не просто «приятный друг домашнего досуга». Скорее это — окно в мир. И очень важно: что видим мы сквозь это волшебное окно!

Думается мне: не сможет весомо звучать слово в эфире, если не будет идти оно из самых подлинных глубин народной жизни. А ведь порой создается впечатление, что руки, делающие многие передачи, соскользнули с пульса нашей кипучей действительности. Одна цель у таких работников: развлекательность. Развлекательность любой ценой! Ради нее тащатся в эфир бездумные песенки, пошлые анекдоты, давно умершие водевильчики, привозные дешёвые «ревю» и т. п. Кажется, не осталось ни одной допотопной австрийской опереттки, которая не прозвучала бы по московскому радио и телевидению. Равно как нет ни одного неудавшегося фильма (собственного или покупного), которого не всучили бы явочным путем советским зрителям через голубой экран.

Чувствуется, что многие передачи составляются с какой-то судорожной поспешностью, по неведомым вкусовым соображениям, без понимания запросов времени. В отношении к литераторам, художникам и кинематографистам ощущается какая-то беспринципная односторонность, они явно делятся (по Салтыкову-Щедрину) на любимчиков и постылых.

Редко звучат голоса Шаляпина и Собинова, Лемешева, Барсовой, Руслановой. Редко передаются стихи Некрасова, Кольцова, Никитина, Рылеева, Шевченко, Райниса, Руставели. Мало и слабо пропагандируется народное творчество. Не слышно ни былильников-сказителей, ни гусяров, ни рожечников, ни бандуристов. Трудно вспомнить, когда слышали мы в эфире голос любимейшего современного писателя нашего народа Шолохова. Очень не часто звучат по первой программе произведения Л. Толстого, Лескова, Гоголя, Тургенева, Бальзака, Диккенса. А мы вправе ожидать от работников радио и телевидения творческих открытий всех богатств, накопленных человеческой мудростью, яркого показа всего самого нужного, талантливого в литературе, в искусстве, в жизни. Неисчерпаемы художественные «запасники» мира. Нет числа произведениям, способным возвысить человека, наполнить его новыми силами для борьбы, для жизни. Огромную радость испытываешь, знакомясь с ними. И как бывает обидно, когда вместо этих прекрасных образцов, слышишь звучащее на всю страну невразумительное, серое, а порой и безграмотное слово.

ИГОРЬ КОБЗЕВ

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В БЕЛОРУССИИ

В нашей стране русский язык — язык межнационального общения. Поэтому нерусское население СССР, как правило, двуязычно — наряду со своим родным в той или иной степени владеет русским.

Городское население Белоруссии хорошо знает русский и активно им пользуется. Однако русский и белорусский языки — близкородственные, и то обстоятельство, что усвоение русских литературных языковых норм происходит здесь в родственном языковом окружении и под сильным влиянием родного языка, создает определенные трудности в овладении русским.

Материалом для наших наблюдений послужили ошибки в письменных работах студентов филологического факультета Белорусского государственного университета (преимущественно отделения белорусского языка и литературы): диктантах, сочинениях, контрольных и курсовых работах и ошибки в их устных ответах.

Влияние белорусского языка больше всего проявляется в области фонетики. Это отражается как на устной речи студентов, так и на орфографии. Наибольшее количество ошибок допущено студентами под влиянием аканья, свойственного белорусскому языку. Немаловажную роль играет здесь и фонетический принцип написания, который передает в белорусском аканье в орфографии. Такие ошибки последовательно прослеживаются во всех морфемах: приставках (памогать, опракинуть, даносит, паникшую)

корнях (голос, сабачонку, калакольчик, марфологический, якаря, саленый), суффиксах (лу́кавинками, тесна, улачка-ми, крохатный), окончаниях (с капитанам, орешникав, по троя), соединительных гласных (параход, вадапад).

Чтобы избежать влияния аканья, студенты часто впадают в другую крайность — употребляют *о* в тех случаях, где в русском пишется *а*: пороход, нисподает, расплостались, корман, пристонь, педогог, покросневший, дрессировонную, папиросоми. Интересно, что оба типа ошибок наблюдаются как в словах с непроверяемыми безударными гласными, так и с проверяемыми, то есть в тех случаях, когда неударные гласные отчетливо произносятся под ударением в однокоренных словах.

Реже встречаются ошибки, допущенные под влиянием белорусского яканья (замены на письме *е* на *я*, *а* в безударных слогах после мягких согласных): по троя, камянистый, уделяно, ляжали, выровняны, тысячалищый. Как попытку избежать яканья надо рассматривать такие ошибки: «Самым быстрым крыльем стали недоступны скорости его полетов»; *синяя* полоска; взлелеенных; веснущелый; черепитчетой и т. п.

Белорусизмами в области согласных являются случаи употребления твердого *р* на месте мягкого (в белорусском языке согласный *р* всегда твердый): перыферыйных, деревяшки, ковражки, прынцып, грязная, афрыканском, тепер, выкрыками, скрыпач. Стремление избежать подобных ошибок приводит к написаниям: старий, бризжег, пригае, кримское, литературы, беспреривная, резкая грянь.

Характер произношения мягкого *т* в белорусском, так называемое цеканье, закрепленное и в орфографии, находит отражение в написаниях: полоценце, венциляция, на сценах портреты (вместо *на стенах*), цвечет, есць и т. п. А здесь происходит своеобразная обратная замена: безинициативным, интедент.

К числу ошибок, сделанных под влиянием белорусских орфоэпических и орфографических норм, надо отнести и отсутствие удвоения согласных: группа, преданая, профессия, режисер, утрений, можевельник.

Под влиянием белорусской орфографии студенты иногда пишут в русском букву *ы* после шипящих и *ц* (нацыянальный, баржы), букву *ё* в иностранных словах на месте *ю* (маёр).

Довольно много ошибок в студенческих работах сделано под влиянием морфологических особенностей белорусского языка, например в склонении существительных — окончание *-ы (и)* вместо *-е* в дательном и предложном падежах единственного числа слов женского рода: «Я благодарна своей *учительницы*»; о Дарьи. В именительном множественного часто пишут *-ы* вместо окончания *-а*; чучелы, окны, словы. Встречаются и ошибки в определении рода существительных: гусь — женского рода, собака — мужского рода, мозоль, медаль, шинель, пыль, тень — мужского рода. Причину таких ошибок нетрудно определить, если учесть, что слово *гусь* в белорусском женского рода, остальные из приведенных слов — мужского.

В именительном единственного прилагательных и причастий мужского рода студенты употребляют окончание *-ы* (красноваты), а вместо русского окончания *-ом* в предложном падеже единственного — *-ым*, как в белорусском языке: в предударном слоге; в бешеном гневе; о самым лучшим из учителей; в желто-зеленом жакете. Белорусским влиянием объясняются и такие формы местоимения: у ее (у нее), по их (по книгам) учили уроки; глагольные формы 3-го лица с мягким конечным согласным: бегуть к озеру; жужжать пчелы.

В области синтаксиса влияние белорусского сказывается главным образом в неправильном употреблении предлогов и предложно-падежных сочетаний. «Больше за *полторы тысячи мастеров* своего дела удостоены почетного звания»; «Я постараюсь также детям привить любовь *до литературы*»; «*До него* примыкала... Козьмо-Демьяновская улица»; ведь *во всех* свой характер; одни с факторов; *из дешевых мест* ничего не видно.

Особенности словарного состава белорусского языка также проявляются в студенческих сочинениях и дипломных работах по русскому языку. Вот несколько случаев употребления слов, не свойственных русскому языку: «высокородная профессия» вместо *благородная*; «мураваная мечеть» вместо *каменная, кирпичная*; «наша неглубокая речушка *отбивала* солнечные блики» вместо *отражала*; «*поклал* книгу» вместо *положил*; *напрыклад* вместо *например*; «*в прошлом* времени» вместо *в прошедшем*. Встречаются и словообразовательные ошибки; *творчести* писателя (ср. русское *творчество* и белорусское *творчасць*), шелестя опавшим *листом* (ср. русское *листва* и белорусское *лісце*).

Все эти факты, взятые из письменных работ студентов, говорят о значительном влиянии белорусского языка на усвоение норм русского.

Необходимо обратить самое пристальное внимание на методику преподавания русского языка в школах и вузах Белоруссии. Одно дело — изучение русского языка в Латвии или Грузии, другое — в Белоруссии или на Украине, где близкородственные родные языки оказывают большое и специфическое влияние на усвоение русского.

Несомненно, что изучение русского языка в школах и вузах Белоруссии должно вестись не изолированно, а в сопоставлении с фактами белорусского, особенно в тех случаях, когда отмечаются различия в материале. Так, при изучении категории рода существительных надо обратить внимание учащихся на различия в роде некоторых существительных в русском и белорусском: в русском — моя полынь, моя тень, мой гусь, мое яблоко, а в белорусском — мой полынь, мой тень, моя гусь, мой яблык. При изучении склонения прилагательных и глаголов необходимо сравнить падежные формы: русские — молодой, новый, белорусские — малады, новы; русские — о молодом, новом, сухом, белорусские — аб маладым, новым, сухім; русские — говорит, ходят, читают (с твердым т), белорусские ён гаворыць, яны гавораць, ходзяць, чытаюць (с мягким согласным) и т. д.

Такого материала можно подобрать очень много по разным разделам: по фонетике, грамматике, лексике, словообразованию. Нужно подумать о создании специальных программ и учебников, в которых отражались бы подобные факты. Это будет способствовать не только усвоению норм русского, но и родного языка.

А. Г. МУРАШКО, Г. В. ПОПОВА
Минск

В следующем номере «Русской речи» читайте:
Н. А. Мещерский. Традиционно-книжные выражения в произведениях В. И. Ленина.
С. М. Потапов. М. В. Ломоносов о выразительности русской речи
Л. И. Скворцов. Луноход

Аббревиатура (латинское *brevis* 'краткий') — сложносокращенное слово: МГУ, сов-хоз, вуз. В статье рассматриваются главным образом инициальные аббревиатуры, то есть сложносокращенные слова, образованные а) из начальных звуков или б) из начальных букв слов, образующих полное наименование, например: а) МХАТ (произносится: мхат); б) ВДНХ (произносится: [вэ-дэ-эн-ха]).

СОВРЕМЕННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

Для традиционных инициальных и инициально-слоговых аббревиатур характерно их фонетическое несходство с «полными» русскими словами и их немотивированность. Во-первых, в них могут быть употреблены сочетания звуков, практически не встречающиеся, а иногда и принципиально невозможные в других типах слов, например начальные *вю*, *зау*, *юо* [juo], *яа* [jaa] и т. п. Так, в «Словаре сокращений русского языка» (М., 1963) зарегистрированы аббревиатуры ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заочный институт), ЭАУС (электронная агрегатная унифицированная система), ЮОНИИ (Юго-Осетинский научно-исследовательский институт), ЯАЗ (Ярославский автомобильный завод).

Во-вторых, фонетическое несходство аббревиатур с несокращенными словами выражается в том, что при буквенном тождестве аббревиатуры отличает иное произношение и ударение, например (произношение и ударение даны по упомянутому «Словарю сокращений»): АСТМА [астма́] 'астати́ческий миллиамперметр' — ср. *астма́*; ЯД [я-дэ́] 'ядови́тый дымообразовате́ль' — ср. *яд*; ОЛЯ [оля́] 'Отделе́ние литерату́ры и язы́ка' — ср. собственное имя *Оля*. В ряде случаев, при буквенном и фонетическом тождестве, аббревиатуры отличаются от обыкновенных слов графически — использованием в их написании заглавных букв: РОМ [ром] 'районный отдел мили-

ции' — ср. *ром*; УС [ус] 'узел связи', 'управление строительства' и др. — ср. *ус*.

Другая характерная черта инициальных аббревиатур — их немотивированность. В семантике инициальных аббревиатур содержится глубокое внутреннее противоречие. С одной стороны, такая аббревиатура, как правило, сохраняет символы (инициалы) всех компонентов полного наименования и таким образом соотносится с ним. Но, с другой стороны, если такая аббревиатура употребляется не на фоне полного наименования, не наряду с ним, а вместо него, то она лишается своей «внутренней формы», становится непонятной, немотивированной.

Немотивированность инициальных аббревиатур, отмечавшаяся языковедами, обратила на себя внимание неспециалистов с первых лет распространения сокращений и неоднократно была предметом насмешек. Ироническое обыгрывание немотивированности аббревиатур шло по двум направлениям. Одно — употребление несокращенных слов в качестве мнимых аббревиатур, например использование А. Блоком фамилии *Оцун*:

Неправда! Я читаю в Пролеткульте,
И в студии, и в Петрокомпромисе,
И в *Оцуне*, и в Реввоиссово...

Другой путь — создание мнимых аббревиатур, сходных с содержательно неприемлемыми в данном контексте несокращенными словами: название учреждения *КЛООП* у И. Ильфа и Е. Петрова, *Главначпунс* в «Бане» В. В. Маяковского. Из более поздних образований можно вспомнить, например, *НИИЧАВО* 'научно-исследовательский институт чародейства и волшебства' (А. Стругацкий, В. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу). Такое обыгрывание подчеркивало немотивированность аббревиатур, их полную автономность, независимость от несокращенных наименований.

Между тем, особенно в последнее десятилетие, очевидно, в связи с тем, что большое количество аббревиатур вошло в общее употребление, наблюдается тенденция угодоблять их, по крайней мере по звучанию, несокращенным словам. Таковы слова *лавсан* («Это чудесное волокно впервые было получено в лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. По сокращенному названию этой научной лаборатории оно и было названо лавсаном». «Правда», 12 сентября 1960), *летилан*

(«Не правда ли, звучное название? Составили его первые буквы названий двух учреждений, сотрудники которых разработали новое волокно,— Ленинградского текстильного института и Латвийской академии наук». «Правда», 9 июня 1965), *элтилон* («Синтетическое волокно элтилон, разработанное учеными Ленинградского института текстильной и легкой промышленности имени С. М. Кирова, принято к массовому производству». «Вечерняя Москва», 25 ноября 1969) и т. п.

Новые инициальные аббревиатуры часто соответствуют несокращенным словам и не вступают при этом в смысловое противоречие с ними, как это нередко было в 30-е годы. Впрочем, можно назвать единичные созданные и в то время аббревиатуры, лишенные такого противоречия, например *СКИФ* «спортивный клуб института физкультуры», украинское название капеллы *ДУМКА* «Державна українська мандрівна капела».

К образованиям такого типа относятся *ФАЗА* (На корпусе небольшого аппарата видна маленькая черная табличка: «ФАЗА-1, 1961». Это расшифровывается: «Феррографический автоматический знакопечатающий аппарат — модель один». Б. Н. Стрельцов, Л. Л. Лившиц. Магнитная запись в технике и быту. М., 1966), *АИСТ* («В 1969 году у нас в Вычислительном центре Сибирского отделения Академии наук начнет работать одна из таких систем, которая связывает разные машины и различный состав оборудования — АИСТ — автоматическая информационная станция». «Известия», 31 декабря 1968). В исследовании «Русский язык и советское общество» (М., 1968) приведены аббревиатуры *МАРС* «машина автоматической регистрации и сигнализации», *АМУР* «автоматическая машина управления и регулирования».

В некоторых случаях происходит явная «подгонка» развернутого наименования под избранную аббревиатуру: «*Старт* — так сокращенно называется система телеавтоматического регулирования транспорта Москвы» («Правда», 24 августа 1968). Очевидно, это не система регулирования транспорта (не регулирование, наладка машин), а регулирование движения транспорта. Слово *движение* пропущено потому, что его введение в полное наименование не позволило бы создать желаемую аббревиатуру. Сказанное подтверждается и иным наименованием той же системы, не соответствующим аббревиатуре: «Прежде всего о большом и ответственном за-

дании, выполнение которого нам поручено, — это разработка телеавтоматической системы управления движением транспорта в Москве — „Старт“» («Вечерняя Москва», 28 ноября 1969). Подобное явление наблюдается и в аббревиатуре *Сирена*: «— Почему система, главным конструктором которой вы назначены, носит имя „Сирена“? — Это сокращение. Полное ее название — система резервирования на авиалиниях. Ее назначение — массовое обслуживание пассажиров воздушных трасс, обеспечение их билетами» («Правда», 12 июля 1967). И здесь для удобства создания аббревиатуры, сходной со знаменательным словом, полное название — «Система резервирования билетов на авиалиниях» — сокращено. Такая же подгонка полного наименования под аббревиатуру наблюдается и в названии *Сириус*: «На Старобешевской ГРЭС государственная комиссия приняла в опытно-промышленную эксплуатацию автоматическую систему „Сириус“. Имя машины точно определяет ее назначение, если расшифровать каждую букву: сбор информации, регистрация, измерение, управление, сигнализация» («Правда», 8 января 1970). Здесь в полном наименовании устранено слово *машина* (или *устройство*, *установка* и т. п.). Кстати, при создании таких аббревиатур не всегда учитывается степень смысловой связи полученного слова с предметом (ср. *Аист*, *Сирена*).

В традиционные аббревиатуры входит обычно по одному элементу (начальной букве или звуку) из каждого слова полного наименования: *н* (аучная) *о* (рганизация) *т* (руда) — *нот*. В новые сокращения, в соответствии с заданием уподобить их существующим в языке словам, может быть включено разное количество элементов из слов полного наименования. Например, в аббревиатуре *аист* слова *автоматическая* и *информационная* представлены соответственно элементами *а* и *и*, но представитель слова станция — сочетание *ст*, а не элемент *с*, как в сокращениях *МТС*, *РТС*, *МСС*, *ДАРМС* и других, в которых слово станция представлено одним элементом *с*. В аббревиатуре *РЕФАЛ* ‘алгоритмический язык рекурсивных функций’ изменен порядок компонентов полного наименования, первый и третий компоненты представлены сочетаниями *ал* и *ре*, отсутствует представитель компонента «язык». Но полученное в результате слово *рефал* в большей степени подобно словам русского языка, чем сокращение *аярф*.

По-разному отражаются в такой аббревиатуре и части сложных слов — компонентов полного наименования. В «традиционных» инициальных аббревиатурах сохранялись обычно представители всех компонентов сложного слова (например, *жд* ‘железная дорога’ — КВЖД; *сх* ‘сельскохозяйственный’ — ТСХА, *эс* ‘электростанция’ — ГЭС и др.). В рассматриваемых аббревиатурах выбор между одно- и двухэлементным представлением двухосновного слова определяется названной целью — создать сокращение, соответствующее несокращенному слову. Например, в аббревиатуре ЭРА ‘электрографический репродукционный аппарат’ первое слово полного наименования представлено только начальным элементом. (Ср. ЭГА ‘электрогравировальный аппарат’, ЭФА ‘электрофотографический копировальный аппарат’). В последнем случае в аббревиатуре не представлен элемент полного наименования «копировальный», видимо, потому, что слово *эфка* вызывало у создателей ассоциации с уменьшительно-пренебрежительными образованиями с суффиксом *-ка*. Такие же соображения можно высказать относительно аббревиатур ТЕКА ‘термокопировальный аппарат’, ЭЛИКА ‘электронно-копировальный аппарат’ («Наука и жизнь», 1969, № 12). Появление гласного *и* в этом слове связано, вероятно, с тем, что аппарат изготавливает печатную форму электроискровым методом, и, следовательно, расшифровка названия должна быть иной: *электроискровой копировальный аппарат*.

Встречаются иронические аббревиатуры: КАКТУС. «Это колючее название придумано юмористами МЭИ, и означает оно: Кабинет автоматического контроля текущей успеваемости студентов» («Наука и жизнь», 1968, № 12): «Один из самых популярных экспонатов — БУКА, „блок универсальной квартирной автоматики“. Этот маленький робот включает всевозможную бытовую электрорадиопаратуру. По утрам он зажигает свет и включает радио, отвечает на телефонные звонки и записывает речь абонента» («Известия», 22 ноября 1969). В последнем случае, как и в некоторых рассмотренных ранее, полное наименование, по-видимому, приспособлено так, чтобы аббревиатура совпала по звучанию со словом *бука*. Описанное устройство, судя по тому, что о нем сказано, можно скорее определить как «универсальный блок автоматики», а не «блок универсальной автоматики».

Аббревиатуры, как правило, включают в свой состав «представителей» всех компонентов полного наименования, но это не делает их понятными для тех, кто не знает полного наименования. Таким образом, поэлементное соответствие полного наименования и аббревиатуры оказывается необязательным. Поскольку аббревиатура становится немотивированным, условным наименованием предмета, постольку в этой функции может выступать и обычное, несокращенное существительное. Немотивированность аббревиатур не может служить препятствием к их употреблению — так же немотивированны для современного языкового сознания, например, слова *дом, стол, коза, день*.

Отличие аббревиатуры *РФХО* от сокращения *лавсан* или *СТАРТ* в том, что первая принципиально отличается от русских слов. Образования типа *лавсан* входят в словарь как его полноправные члены, а слова типа *СТАРТ* очень скоро начинают восприниматься как обычные условные номенклатурные наименования. Их существование поддерживается употреблением аналогичных наименований: «Старт» (телевизор, фотоаппарат, кинотеатр, кофейный напиток), «Спутник» (фотоаппарат, электрическая бритва, кинотеатр, магазин, кафе), «Нежность» (Прибор для определения нежности чайного листа. См. «Проект ГОСТа. Промышленность чайная. Термины». 1969), «Изумруд» («...телеавтоматическая система.., которая успешно управляет движением транспорта в микрорайоне у Серпуховской заставы». «Вечерняя Москва», 28 ноября 1969; ювелирный магазин) и т. п.

Долгое время аббревиатуры были чужаками в языке. Необходимость их как средства сокращения текста, с одной стороны, и явное отличие от всех других слов, с другой, привели к выработке новых способов образования аббревиатур — к их уподоблению несокращенным словам или к созданию сокращений, тождественных существующим в русском языке несокращенным словам.

В. А. ИЦКОВИЧ

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — ПУШКИНСКАЯ

(Витебский вокзал)



Первая линия ленинградского метро открылась осенью 1955 года. Названия его станций и линий прочно вошли в жизнь ленинградцев. Метро строится теперь непрерывно, и потребность в новых наименованиях по существу стала уже постоянной. Со временем возникает необходимость и в переименованиях, что уже было в жизни более старого и более разветвленного московского метро. Все это скоро превратится в серьезную проблему, как давно уже ею стали наименования улиц и площадей, мостов и набережных и т. п. Поэтому надо разобраться в складывающейся ситуации, чтобы можно было выработать конкретные рекомендации.

Почти все станции ленинградского метро названы по какому-либо городскому топонимическому объекту — проспекту, площади, вокзалу и т. п. — и, следовательно, являются результатом вторичной топонимизации: площадь Мира (городской наземный топоним) — Площадь Мира (станция метро), Невский проспект (центральная городская магистраль) — Невский проспект (станция метро) и т. п.

И лишь название одной станции — Пушкинская — не имеет исходного названия в городской наземной топонимии. Есть, правда, Пушкинская площадь и Пушкинская улица, но они находятся в других точках города.

Станция Пушкинская названа, видимо, по городу Пушкину, к которому ведет железнодорожная линия от Витебского вокзала, расположенного рядом с этой станцией. Но в названии Пушкинская можно усмотреть и другую основу — имя самого поэта. Такое осмысление поддерживается и художественным оформлением подземного вестибюля станции: скульптура Пушкина на фоне живописного уголка царскосельского парка. Впрочем, подобным образом оформлены почти все станции, названия которых образованы от собственных имен людей: Маяковская, Горьковская, Чернышевская, Фрунзенская. Но все эти станции находятся в районе соответствующих топонимических объектов: улица Маяковского, проспект Горького, проспект Чернышевского, Фрунзенский район, Фрунзенский универмаг.

Но если допустить, что название Пушкинская происходит от имени поэта, то возникает принципиально новый тип названий станций метро — без ориентации на городские топонимические объекты. Это будут, условно говоря, не «отраженные», а «собственные», специально для метро созданные наименования, не вторичные, а первичные топонимы. Такие названия уже запланированы или предлагались для проектируемых станций: Академическая (в районе проспекта Науки), Южная, Космическая и т. п. (вопрос о целесообразности таких названий будет рассмотрен далее).

Вторичная топонимизация при создании названий станций метро имеет две разновидности:

1) использование городского топонима в новой функции без какого-либо внешнего преобразования (непосредственная вторичная топонимизация): Дачное, Автово, Кировский завод, Гостиный двор и др. — всего 14 названий;

2) образование на базе городского топонима нового названия (словообразовательная вторичная топонимизация): Нарвская (Нарвские ворота, Нарвский проспект), Балтийская (Балтийский вокзал), Петроградская (Петроградская сторона, Петроградский район, остров) и др. — всего 10 наименований.

Преобладает, таким образом, первый тип топонимизации.

Какие же городские топонимы лежат в основе названий станций ленинградского метро? Тут наблюдается большое разнообразие:

проспекты и улицы — Горьковская, Маяковская, Чернышевская, Невский проспект; в некоторых случаях в качестве исходного слова может быть одновременно и название проспекта и название площади (Московский проспект и Московская площадь);

площади — Площадь Восстания, Площадь Ленина, Площадь Мира; Владимирская (площадь и проспект), Московская (площадь и проспект), Площадь Александра Невского; районы города — Автово, Дачное, Василеостровская, Петроградская; заводы — Кировский завод, Электросила; торговые предприятия — Гостиный двор; архитектурные сооружения — Московские ворота; учебные заведения — Технологический институт; парки — Парк Победы; вокзалы — Балтийская.

Преобладают названия по проспектам, улицам, площадям и районам города.

Разнообразны наименования и по структуре:

однословные — при непосредственной топонимизации: Дачное, Автово, Электросила; при словообразовательной топонимизации: Нарвская, Балтийская, Московская, Маяковская, Петроградская; все эти названия оформлены как субстантивированные прилагательные;

двусловные — прилагательное + существительное: Кировский завод, Московские ворота, Невский проспект, Гостиный двор; существительное + существительное в родительном падеже: Площадь Восстания, Площадь Ленина, Площадь Мира, Парк Победы;

трехсловное — Площадь Александра Невского.

Преобладают однословные наименования — 14 из 25.

Итак, почти все названия ленинградского метро — результат вторичной топонимизации. Особо стоит лишь название Пушкинская, если верно, что оно дано в честь поэта, и название Академическая, если оно будет присвоено проектирующейся станции. Большая часть названий является результатом непосредственной топонимизации — 14 из 25.

В связи с этим можно сделать следующие рекомендации: 1) однословные названия при прочих равных условиях лучше усложненных; 2) названия, возникшие в результате вторичной топонимизации, лучше «собственных» названий.

Почему мы предлагаем именно эти рекомендации? Нужно, чтобы названия станций метро служили интере-

сам пассажиров — помогали ориентироваться в направлениях движения. Поэтому они должны соответствовать городским наземным топонимам.

Остается рассмотреть наиболее трудный вопрос — как надо выбирать конкретный мотивирующий признак, основу наименования. Станция Горьковская названа по топониму «проспект Горького», так как она находится близ этого проспекта. Но она могла бы быть названа и по наименованиям других объектов, расположенных там же: Кировский проспект, площадь Революции, музей Революции, Петропавловская крепость, парк имени Ленина (станция находится именно в этом парке) и др. Не меньше претендентов на роль исходного названия было и у станции Петроградская: Большой проспект, Кировский проспект, площадь Льва Толстого, Дворец культуры имени Ленсовета и др.

При выборе мотивирующего признака в каждом конкретном случае предпочтение должно быть отдано объекту, который более всего «заметен» (в разных отношениях) и который более всего привлекает пассажиров, например вокзал. Этот принцип, однако, в Ленинграде не получил признания; из четырех привокзальных станций так названа только одна — Балтийская, в районе Балтийского и Варшавского вокзалов (может быть, лучше было бы Варшавско-Балтийская?).

В связи с этим можно привести такой пример: станция у Витебского вокзала названа Пушкинской, а станцию в другом пункте города предполагалось назвать Витебская. Таким образом, не ориентированное название предполагалось «дополнить» ложно ориентированным (Витебская вдали от Витебского вокзала). «Ленинградская правда» по этому поводу писала: «Такое название может вызвать путаницу, особенно у гостей города...» (30 мая 1968). От названия Витебская пришлось отказаться, но Витебский вокзал, как и два других вокзала, по-прежнему остаются без «своих» станций метро. Отход от безусловно рационального принципа приводит здесь к тому, что каждое «невокзальное» название в речи, например при объявлении остановок, постоянно сопровождается неофициальным, по вокзалу: «Пушкинская — Витебский вокзал».

А. И. МОИСЕЕВ
Ленинград



РАСПОЛО́ЖЕННЫЙ И РАСПО́ЛОЖЁННЫЙ

Располо́жена или *расположе́н* — как следует произносить это слово? С таким вопросом обратился к нам один из читателей «Русской речи». Конечно, мы скажем, выражает он свое мнение, «Улица располо́жена там-то», но неужели надо говорить «Я не располо́жена с вами сегодня разговаривать»?

И вопросов, касающихся постановки ударения в страдательных причастиях прошедшего времени на *-енн-*, образованных от глаголов на *-ить* (располо́женный — расположи́ть, подаренный — подарить), довольно много: нагруже́нный или нагру́женный; заснеже́нный или засне́женный; повторённый или повто́ренный; затверже́нный или затвёрженный и т. д.

Ударение причастия связано с ударением глагола, от которого это причастие образовано. В страдательных причастиях прошедшего времени на *-енн-* от глаголов на *-ить* место ударения зависит обычно от постановки ударения в настоящем времени глагола. Если ударение неподвижно и падает на основу, то и в причастиях оно будет на основе: проверить — проверю́, провере́нный. От глаголов с так называемым подвижным ударением, в которых в инфинитиве ударение падает на *-ить*, а в настоящем времени, начиная со второго лица единственного числа, «переходит» на основу, ударение в причастиях также на основе: залече́ить, залечу́, залечи́шь — залече́нный; намолоти́ить, намолочу́, намолоти́шь — намолоче́нный. Если ударение в глаголе находится на окончании во всех формах настоящего времени, то в причастии оно обычно падает на суффикс *-енн-*: развесели́ить, развеселю́, развесели́шь — развеселе́нный; приговори́ить, приговорю́, приговори́шь — приговорё́нный.

Эти вполне определенные, казалось бы, акцентные нормы колеблет прежде всего неустойчивость ударения в самих глаголах на *-ить*. Ударение этой группы глаголов подвергалось изменениям, что было обусловлено определенными особенностями развития

русской акцентной системы, особенностями взаимоотношения литературного языка и диалектов, влиянием старого церковно-книжного произношения и другими причинами. Основной тип изменения акцентовки глаголов — переход от конечного ударения к подвижному.

К числу глаголов с таким неустойчивым в литературной традиции ударением, например, относятся: *валить* (*ва́лишь* и *ва́лишь*); *варить* (*ва́ришь* и *ва́ришь*); *губить* (*гу́бишь* и *гу́бишь*); *делить* (*де́лишь* и *де́лишь*).

Причастия от этих глаголов также имеют неустойчивое ударение — на суффиксе, соответствующее конечному ударению глагола, и на основе в соответствии с подвижным типом ударения (*погашённый* — *пога́шенный*, *погублённый* — *погу́бленный*, *похоронённый* — *похоро́бленный*).

Подобные колебания можно отметить и в причастиях от многих других глаголов: *завалённый* и *зава́ленный*, *разварённый* и *разва́ренный*; *накурённый* и *наку́ренный*, *прокурённый* и *проку́ренный*; *заманённый* и *зама́ненный*.

В дальнейшем у части глаголов в литературном языке закрепляется подвижное ударение. Так, сейчас употребительны только с подвижным ударением такие глаголы (и все производные от них): *курить* — *ку́ришь*; *пилить* — *пи́лишь*; *сушить* — *су́шишь*; *студить* — *сту́дишь*. В причастиях от этих глаголов, как правило, закрепляется ударение на основе: *проку́ренный*, *раску́ренный*; *напи́ленный*, *отпи́ленный*, *распи́ленный*; *засту́женный* *осту́женный*, *просту́женный*; *засу́шенный*, *насу́шенный*, *осу́шенный*, *просу́шенный*. Но в ряде других глаголов (*солить*, *сорить*, *доить* и др.) ударение не установилось, остались колебания и в причастиях от них.

В литературном языке при большой неустойчивости ударения в глаголах на *-ить* постоянно возникают и новые колебания в ударении причастий. Сравнительно недавно развилось колебание в ударении глагола *грузить* и его производных: *загрузить*, *погрузить*, *разгрузить*, *нагрузить*. Оно обусловило и появление ударения *загру́женный*, *нагру́женный*, *погру́женный*, *разгру́женный*; появившееся тоже сравнительно недавно ударение *да́ришь* перестроило ударение в причастии *пода́ренный* и т. д.

При оценке этих и многих других подобных колебаний — *вспо́бный*, *напо́бный*, *продбо́бленный*, *расщеплённый* — следует опираться на глагольное ударение, учитывая и все его особенности, в частности прикрепленность того или иного ударения к определенному значению: *погрузи́ться*, *погрузи́шься* (в мечты, задумчивость); *напои́ть*, *напои́шь* — 'наполнить'; *упои́ть*, *упои́шь* — 'дать упоение'.

На том именно основании, что литературной нормой не допускаются ударения *зады́мит*, *закбо́тит*, *запоро́шит* и подобные, сле-

дует признать ошибочными и такие произношения: *задымленный*, *закóпченный*, *захлáмленный*.

Предпочтительным с точки зрения литературной нормы следует признать ударение *заснежённый*, *оснежённый*. Ударение на корне допустимо только в некоторых причастиях: *раздроблённый*, *разгро́мленный*, *позоло́ченный*, *прослёженный*.

Но ударение далеко не всех причастий зависит от ударения глагола. Это является второй причиной, которая определяет неустойчивость ударения в причастиях.

Некоторые причастия сохраняют ударение на суффиксе, в соответствии со старым наконечным ударением глагола, даже и в том случае, если глагол уже приобрел подвижное ударение. Так, при употреблении в литературном языке глаголов *заменить*, *изменить*, *сменить*, *отменить* с колеблющимся ударением, а затем только с подвижным (*заменíть*, *заменíшь*) причастия от этих глаголов в литературной традиции имели и имеют ударение только на суффиксе: *заменённый*, *изменённый*, *отменённый*.

Дело здесь, по-видимому, в том, что колебание между наконечным и подвижным типом ударения в глаголе в данном ряде случаев есть отражение борьбы ударения книжного и свойственного живой речи. Причастие как форма книжная и по своему ударению совпадает чаще именно с книжным ударением глагола. И если в глаголе в процессе развития литературного языка побеждает подвижной тип ударения, то есть ударение живой речи, то в причастии, вследствие его книжности, традиционные ударения сохраняются дольше, а иногда и вовсе не меняются. Последнее характерно, правда, для весьма небольшого числа слов. Сюда относятся прежде всего причастия с церковнославянской огласовкой: *освещённый* (*осветíть*, *осветíшь*), *осаждённый* (*осади́ть*, *осади́шь*), или слова, явно сохраняющие свою книжность, редко употребляемые в живой речи: *искуплённый* (*искупи́ть*, *искупи́шь*); *вкушённый* (*вкуси́ть*, *вкуси́шь*) и др. Во всех остальных случаях расхождение между ударением причастия и глагола не имеет совершенно устойчивого характера. По мере того, как причастие проникает в живую разговорную речь, оно и в литературном языке приобретает все более широкое употребление с ударением на основе, подчиняясь воздействию ударения глагола, с одной стороны, и массы аналогичных переходов ударения в причастиях — с другой.

С конца XVIII века можно наблюдать вытеснение целого ряда таких книжных ударений на суффиксе в причастиях и замены их ударением, соответствующим ударению глагола. Речь идет о таких акцентовках: *пресыщённый*, *насыщённый* (*пресыти́ться*, *насыти́ться*).

Подобные книжные ударения особенно часто встречаются в поэтической речи. Ведь поэт мог употребить уже не современное

ему, но известное в поэтической традиции ударение для придания повествованию особой приподнятости, торжественности. На том основании, что Словарь Академии Российской и Словарь 1847 года приводят причастия *возвышенный, окровавленный, украшенный* с ударением на основе, можно предполагать, что ударение *возвышённый, окровавлённый, украшённый*, широко распространенное у поэтов конца XVIII и первой половины XIX века, не было нормой для литературного языка этого периода. Да и в поэтическом языке первой половины XIX века можно отметить колебание в ударении этих причастий, часто у одного и того же поэта. Например у Пушкина:

Могучий ток его несет
Вдоль берегов уединенных,
Где на курганах возвышённых...

Кавказский пленник

...на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом...

Медный всадник

Ударение *окровавлённый* встречается еще и у поэтов начала XX века и даже у некоторых современных:

Второй, израненный врагом,
Окровавлён, в пути отстанет...

Симонов. Три брата

Это он окровавленным ногтем,
заживо в танке сгорая,
«Большевики не сдаются»
нацарапал на дымной броне.

Симонов. Далеко на Востоке

В причастиях от глаголов *мочить, сытить, хитить, пустить, вскормить, учить, пénить* ударения на суффиксе были распространены более широко. Эти ударения, хотя и с колебаниями, отмечают словари XIX века.

В современном литературном языке во всех этих причастиях твердо установилось ударение на основе, соответствующее ударению глагола: *насыщенный, намóченный, заученный, распúщенный*.

Таким образом, архаические ударения постепенно исчезают. Старые ударения на суффиксе, не зависящие от ударения глагола, сохраняются лишь у причастий с устойчивой книжной традицией.

Особый случай несовпадения с глагольным ударением за счет устойчивого сохранения ударения на суффиксе представляют причастия, перешедшие в категорию прилагательных. Известно, что в русском языке наблюдается тенденция использовать ударение для

смысловых разграничений, на что указывал в свое время Г. Павский: «Чтоб положить яснейшее различие между причастиями и прилагательными именами, гений языка берет иногда в помощь ударение. Так, например, от *унизить* причастие *уни́женный*, а прилагательное имя *униже́нный*, от *приблизить* — *приблѣженный* (прич.) и *приближе́нный* (прилаг.), от *положить* — *поло́женный* (прич.) и *положе́нный* (прилаг.)... Но это средство, принятое для различения причастий от имен прилагательных, не могло сделаться общим» (Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждение второе. СПб., 1850, § 56). Причастия постепенно подравнивались по глагольному ударению, а прилагательные, потерявшие связь с глаголом, сохраняли старое ударение. Однако степень устойчивости этого ударения тоже очень различна. Чаще всего устойчивое ударение на суффиксе сохраняют причастия, образованные от бесприставочных глаголов, при переходе в прилагательные: *варѣ́нный* (варить), *пилѣ́нный* (пилить), *суше́нный* (сушить). Из причастий от приставочных глаголов обычно твердо сохраняют ударения на суффиксе те, которые перешли затем в существительные (*приблѣже́нный*) или прилагательные, причастия по происхождению, которые практически как причастия не употребляются: *одаре́нный* человек (талантливый), *неоценѣ́нный* друг.

Все этапы в развитии ударения причастий, о которых шла речь, отразились в колебании произношения *располо́женный* — *расположе́нный*.

В литературном языке прошлого века все причастия, образованные от глаголов, производных от *-ложить*, испытывали колебания в ударении. Они употреблялись и с ударением на суффиксе, более старым в литературной традиции — *приложѣ́нный*, *разложѣ́нный*, *подложѣ́нный*, и ударением на основе, соответствующем ударению глаголов. В некоторых из них развились качественные значения, определившие переход этих причастий в прилагательные. Сюда относится, в частности, и причастие *располо́женный*, приобретшее значение 'склонный к чему-либо, имеющий желание что-либо сделать'; 'питающий чувство симпатии, хорошо относящийся к кому-либо'.

Как было показано, ударение здесь могло быть использовано для разграничения причастия и прилагательного, однако реально такого устойчивого разграничения не существовало. С точки зрения современных произносительных норм прилагательное *располо́женный* может быть, произнесено как *располо́женный* (предпочтительный вариант) и *расположе́нный* (допустимый вариант). Следовательно, можно сказать и «Улица *располо́жена*» и «Я не *располо́жена* с вами сегодня разговаривать». Ошибки здесь нет.

В. Л. ВОРОНЦОВА

СТИЛЬ
«СОВЕТСКОЙ
СИБИРИ»

Слова в языке многозначны. Поэтому оговоримся сразу, что имеем в виду прежде всего понятие литературное и языковое. То есть стиль — это манера словесного изложения, это построение речи в соответствии с нормами синтаксиса и словоупотребления.

Но не будем упускать из виду и того, что со словом *стиль* в нашем языковом сознании связывается также понятие о самом методе и характере деятельности.

Начну со спора о словах понятных и непонятных. Выписав с десятков слов сначала из повести вологжанина В. Белова, потом из некоторых областных и республиканских газет, доцент Московского полиграфического института В. Свинцов провел эксперимент. Он попросил своих студентов, будущих редакторов, определить значения этих слов. Результаты оказались неутешительными: много есть слов, непонятных даже имеющему определенную подготовку читателю, слов как старых народных, деревенских, так и современных технических, специальных. В повествовании о северной русской деревне это *пестерь*, *подсека*, *опушенный дом*; в рассказе о китобоях — *финвал*; в заголовке газеты, выходящей, по-видимому, в приморском городе — В залив выходят *дорки* и т. д. Предварительные результаты эксперимента с выводом из него (в интересах «инакоговорящих» не употребляй слов не всем понятных, по крайней мере без пояснения их тут же в скобках или в примечании) опубликованы: по повести В. Белова в «Литературной газете» (1969, № 39); по газетам — в «Журналисте» (1969, № 11).

Решив продолжить испытания В. Свинцова, на занятиях семинара по стилистике в Московском педагогическом институте имени В. И. Ленина я стал читать студентам корреспонденции и очерки об уборке урожая на полях Сибирского края. Оказалось, что будущие учителя, люди в общем образованные, не знают, какие такие «башмаки» мог снимать комбайнер с какого-то «подборщика», чтобы ниже брать какой-то «валок». А «совсибирцы», между тем, укладывали эти валки на полосы своей газеты едва ли не все лето и всю осень. Нимало не заботясь о проблеме всестуденческого понимания, приступили они и к «косовице в сдвоенный валок», и «к взмету зяби»; давали статью под заголовком «Косовица низкорослых хлебов пунктирным способом», в которой было написано просто: «При первом заезде комбайнер срезает колосья с края полосы на полный хедер, косит обычным способом, не останавливая полотна жатки» (26 августа. Все выдержки из номеров газеты за 1969 год).

Из экспериментов над московскими студентами следовало, пожалуй, сделать вывод, что, во-первых, не существует никакого такого «среднего читателя», есть лишь читатель конкретный, во-вторых, статью в газету (а равно и повесть) пишут не для «инакоговорящих», а для говорящих так же. Поэтому поиски стилистического ключа журналисты и ведут в разных направлениях, с учетом различий в содержании материала и ориентировкой на читателя «лица с необщим выражением».

В предпраздничном номере (6 ноября) «Советская Сибирь» напечатала статью делегата Всесоюзного съезда колхозников. Содержанию материала отвечает его стилистическое оформление, сочетающее близкий сельскому жителю народно-разговорный строй речи в синтаксисе и в словаре с широким использованием современной терминологии, понятной любому сельскому читателю:

Шилово-Курья — мое родное село. Когда-то здесь была коммуна «Красная поляна», потом стал колхоз «Вперед к коммунизму». Я родился уже при колхозе. Рос, как и все деревенские мальчишки. Пас телят и гусей, играл в лапту, бегал в лес за грибами и ягодами.

Отец мой Маркел Павлович считался сноровистым землепашцем. Он умел ухаживать за полем, выращивал отменный хлеб. И меня рано стал приучать к плугу. Бывало, возьмет с собой на пашню — и давай втолковывать, где и как надо пахать. В заключение обязательно поднимет указательный палец и скажет:

— Запомни, сынок, земля ленивых не любит.

По первости я работал на лошадях и быках, затем в механизаторы пошел. И вот уже сколько лет нахожусь при технике. Знаю и трактор, и комбайн, ежегодно участвую в посевной и уборке урожая.

На моих глазах колхоз вырос и окреп, превратился в многоотраслевое хозяйство. Здорово похорошело и мое родное село.

Далее речь идет и о «машинно-тракторном парке», и о «гранулированном суперфосфате», и о «сортовых семенах крупных фракций», но сообразность слога нарушается не применением этих терминов, а вкраплением такого, например, предложения: «В стадии строительства еще несколько культурно-бытовых зданий».

Очевидно, что живо написанному материалу более всего противопоставлен стиль официальной отчетности. Хотя все слова понятны даже в таком предложении: «В составе агитпоезда функционировала книжная автолавка» (30 августа), но адресовано оно как будто и впрямь «инакоговорящим».

Нельзя, конечно, оправдывать безудержного применения профессиональных оборотов речи. Так, в краткой информации за подписью «наш корр.» (23 сентября) читаем: «Наряду с уборкой хлебов многие хозяйства усиленно заготавливают землю под урожай будущего года... Благодаря старанию механизаторов, совхоз уже заготовил 2500 гектаров зяби. Среди колхозов района первенство занимает [кстати, „первенство удерживает“ или „занимает первое место“. — В. Д.] сельхозартель имени Кирова, заготовившая под яровые культуры более двух тысяч гектаров зяби...». Сочетания «заготавливать землю», «заготовить зябь» следовало бы заменить уже хотя бы потому, что и в профессиональном обиходе более привычны выражения «заготавливать овощи, корма» и т. п.

Бросятся в глаза даже небольшие шероховатости стиля в статье «Уроки минувшего августа. После вступительных экзаменов в вузы» (17 сентября). Отметим повторение однокорневых слов, неблагозвучие в сочетании звуков, просторечное выражение «письменная литература» вместо «письменный экзамен по литературе», то есть «сочинение»:

Надо сказать, что при всем нашем желании отдать предпочтение сельским абитуриентам мы должны отметить слабую их подготовку, *сказавшуюся* на вступительных экзаменах...

В НЭТИ так же, как и в педагогическом, медицинском, Сибстрине, НИИЖТе и ряде других вузов, отмечается плохая подготовка ребят *по литературе*, особенно *письменной*. Из тысяч поданных работ только единицы заслуживают отличной оценки и могут быть признанными безукоризненными по стилю, языку и знанию предмета. *Чаще же* всего ребята не умеют правильно выразить свою мысль, плохо владеют *письменной* речью, искажают смысл некоторых понятий и слов.

Какова стилистическая природа скучных газетных статей? Речевое однообразие, а значит и скука возникают отнюдь не из одного лишь увлечения профессиональными выражениями и терминами. «Иссушает» текст, например, забвение важного в русском языке правила: «Глаголом жги сердца людей».

Настаивая на осовремененном, грамматическом истолковании знаменитой пушкинской строки, приведу пример:

Это далеко не предел имеющихся возможностей по совершенствованию технологической оснастки и оборудования, направленного на повышение производительности труда и улучшение качества деталей и изделий. Большие задачи стоят перед коллективом предприятий по совершенствованию технологии и технологической оснастки изготовления деталей и изделий.

В перспективе на ближайшие годы намечен ряд мероприятий по замене оборудования на специальные пресс-автоматы, изготовлению прогрессивной инструментальной оснастки, внедрению твердосплавного инструмента, направленных на повышение качества и увеличение производительности труда (9 сентября).

Стиль монотонный порождают не только отсутствие глагола и замена его глагольным именем. Вряд ли могут вызвать сочувствие читателя и чрезмерные «глагольные страдания»:

Ольга Мироновна утром дает дрожжеванную мешанку, в состав которой входят комбикорм, мел, технический жир. В обед *задается* тоже мешанка из комбикорма и рыбьего фарша. Мешанка обязательно *подогревается*. Птичница давно заметила, что в подогретом виде корм *подается* лучше. Вечером курам *задается* корм сухим. В вечернее «меню» входят комбикорм, витаминная мука, песок и ракушечник. По несколько раз в день *меняется* вода в поилках.

Это отрывок из очерка (!) «Птичница из Киевки», опубликованного под рубрикой «Люди советской деревни» (18 сентября).

Но как разнообразны приемы засушивания текста, так разнообразны и приемы его оживления. Рассмотрим некоторые из них.

Журналисты «Советской Сибири» смело применяют средства разговорной речи. Иной раз даже слишком смело, забывая о том, что на письме точно воспроизведенная из живого разговора реплика порою просто «не звучит». Ведь она не поддержана ситуацией, жестом, мимикой, как в живом общении. В речи письменной ее поддерживает только текст. А если текст на протяжении 50—60 строк не выдержан в одном стиле, создается впечатление, что в нем что-то лишнее — не то краснота пейзажной зарисовки, не то нарочитая живость диалога:

Догорала вечерняя заря. Ночная мгла укутала степь. Александр Столяров довел до края загонки комбайн и остановился. Вскоре подошли остальные агрегаты. Механизаторы оставили штурвалы, собрались в кружок, закурили.

— Ну что, на отдых или...? — обратился Столяров к товарищам.

— Ты-то как думаешь?

— Да, время позднее, все мы изрядно устали. Но хлеб еще сухой. Думаю, час-другой еще можно поработать, а то, чего доброго, соседи обойдут нас.

Соседи — это механизаторы Левинской бригады. Там, как и здесь в Камышинской бригаде, создана уборочно-транспортная

бригада. Комбайперы и шоферы в ней, словно на подбор, дружные, энергичные. Но и камышинцев, как говорят, голыми руками не возьмешь, умеют постоять в работе. У механизаторов сложилась добрая традиция — соревноваться и в посевную, и в сенокос, и в уборочную. Общий девиз таков: быстрее, больше, лучше.

— Учтите, товарищи, — напомнил однажды на совещании механизаторов председатель артели Кузьма Григорьевич Кормилицын. — В прошлую жатву мы отказались от привлечения рабочих со стороны. Нынче снова делаем ставку на собственные силы. Нелегко будет. Поэтому давайте множить силы в соревновании...

Механизаторы поддерживали председателя. Камышинцы снова вызвали на соревнование левинцев. С тех пор в бригадах наблюдается крепкая трудовая сплоченность, живым родником бьет активность людей... (17 сентября).

К фотографически точному воспроизведению безыскусственных разговоров на страницах своей газеты совсибирицы порою относятся любовно (чего нельзя сказать об их отношении к некоторым иностранным словам):

Директор Буготакского карьероуправления Е. Б. Бери был деловит и краток.

— Вот что, товарищи, — собрав строителей, сказал он, — нужна компрессорная. Иначе станет горный цех.

— А как со сроками? — поинтересовался начальник строительства цеха А. Н. Лабузов.

— Чем быстрее сделаете, тем лучше.

— А материалы?

— Кирпича нет. Вы это прекрасно знаете. Придется использовать шлак. Ну, скажем, стены сделать засыпные.

Сроки поджимали, раздумывать особенно было некогда. Анатолий Николаевич Лабузов пригласил самых опытных строителей.

— О шлакозасыпной компрессорной и думать нечего: овчинка выделки не стоит, — заметил каменщик М. С. Хлутков. — Ненадежно.

— Давайте заливную попробуем, — предложил бригадир М. И. Копылов. И для убедительности добавил: — Шлака в достатке, и цемент есть.

— А что, мысль! — поддержал плотник Н. В. Дюнин. — Это будет надежно.

— Приступаем, — *подвел резюме* начальник цеха и тотчас же отправился на объект... (20 ноября).

Кроме оживления материала средствами разговорной речи (такой прием своеобразного «газетного сценария» все же надо признать естественным), существуют еще приемы искусственные, например чисто графический — кавычки:

«Швейники „добрались“ и до столовой (кстати, на многих предприятиях именно здесь люди теряют немало рабочего времени)... Нет сомнения в том, что большую долю в этот успех „внес“ смотр экономии рабочего времени... Ушел „в отставку“ уют, так необходимый при отделке пальто. Его заменил пресс». Все эти цитаты из

одной статьи (24 сентября). Ее автор заставил читателя спотыкаться о кавычки, не позаботившись о том, чтобы наделить заковыченные слова смысловой индивидуальностью.

● Простота слога и настоящая, ненаигранная деловитость изложения отличает многие материалы «Советской Сибири» — передовые статьи, очерки и корреспонденции, письма читателей. Перечислять хорошие материалы не буду. Назову лишь несколько. В номере от 30 августа это довольно специальная, но написанная интересно статья о техническом совете в Абакане под заголовком «В союзе со смекалкой. Магистраль технического прогресса» (автор Т. Данилова); 8 сентября — репортаж «Твердый курс. Строители накануне реформы» (автор Е. Лысая), начало из него можно привести как образец текста, выдержанного в спокойной и в то же время в какой-то динамической манере:

Вступительная речь начальника управления строительства «Сибкакадемстрой» Ивана Маркеловича Иванова на экономической конференции была краткой. И посвящалась, главным образом, переходу строителей на новый порядок планирования и экономического стимулирования.

Подготовиться к реформе — это не только разработать и изучить методические указания, положения о премировании. Главное — посмотреть, готовы ли мы экономически и технически к работе по-новому, к такой работе, чтобы было еще более эффективным строительное производство, чтобы и государству, и коллективу было выгодно.

Деловой тон выступления передался участникам конференции. Все взвешивалось, оценивалось критически, неуместными были громкие фразы и парадные речи. Когда начальник планового отдела управления механизации Иван Иванович Галкин начал было в деталях рассказывать всю историю становления управления механизации, перечислять весь парк машин, все цифры роста и прибыли, его прервали репликой с мест (надо бы, конечно, «с места».— В. Д.).

— Отчеты нам нет смысла слушать, говорите о деле...

14 сентября в «Советской Сибири» опубликован очерк «Покопатель микронов». Здесь много технологических подробностей, разного рода понятных и не всем понятных терминов. Но такт журналиста в отношении к читателю не позволил заслонить ими героя.

Нельзя не упомянуть здесь статей и корреспонденций П. Дедова с их по-крестьянски неторопливым речевым складом. Вот начало очерка «Сын тракториста», о делегате III Всесоюзного съезда колхозников:

Удивительно, и когда они успевают спать, деревенские женщины? В ночь-полночь попадешь в село — сквозь занавешенные, желтые от света окна видны женские силуэты, склоненные над стиральными досками, над шитьем или вязанием.

На этот раз попал я в деревню Бурлиху только под утро: дорогу развездо, пришлось добираться отчасти на машине, отчасти пешком. Но и в этот ранний час уже полыхали окна домов, зажженные пламенем могучих русских печей, у которых торопливо маячили женские фигуры...

Я постучал в окно крайней избы, спросил, где живет тракторист Шипицын.

— Тама вон, на самой горке большой рубленый дом,— ответила маленькая старушка.

— Спит, поди еще?

— Это Сашка-то спит? Нет, он раньше всех баб поднимается.

Действительно, хозяин встретил меня во дворе — управлялся со скотиной. Под ногами у отца путался шестилетний сынишка Сашка.

— Вот уж будет истинный хлебороб,— улыбнулся Александр Яковлевич.— Шагу не дает ступить, я к трактору — и он за мной, испачкается в мазуте, мать потом обоим нам нагоняй устраивает... (31 октября).

Таков стиль лучших материалов о людях труда. И насколько разнообразны формы проявления человеческого характера в трудовой деятельности, настолько, при творческом отношении журналиста к своему делу, разнообразными и выразительными оказываются портреты этих людей.

Им противостоят штампованные копии, выполненные в чисто изобразительной манере. Вот две мужские и одна женская:

Все повернулись в его сторону. Владимир стоял на подножке машины, как всегда тщательно выбрит, в чистой зеленой рубашке и отутюженных брюках. От его по-спортивному ладной и крепкой фигуры так и веяло молодым задором... (3 октября);

Из зала к нему направился ладно сбитый парень в темном пиджаке и хорошо отутюженных брюках. Он стал рядом с ветераном и смущенно улыбнулся, приглаживая ладонями непокорные волосы... (28 октября);

Иван Рязцкий приостановил свой трактор и замигал фарами идущему навстречу трактору «Беларусь» с навесными волокушами. Из кабины вышла низенькая женщина в фуфайке и больших кирзовых сапогах... (15 ноября).

Заметим, что под этой серией изображений стоит подпись одного и того же сотрудника газеты.

Застывшие, переходящие из материала в материал и давно уже утратившие свежесть образы называют обычно «газетными штампами». Бывает, что теоретики «газетного языка» оправдывают их применение — с целью ускорить процесс передачи информации.

Но штампы малый след оставляют в сознании, отличаясь этим от слов живых или, по старому выражению, трогательных. Может ли сельского читателя тронуть, например, административно-канцелярский образ — знаменитая уже «прописка»: «В колхозе имени Кирова Чановского района хранятся два Красных знамени... По-

следнее знамя нашло прописку здесь до настоящего времени» (30 сентября).

Смысл может выветриться даже из любого слова или выражения, стоит только начать применять его почаще: «Местным механизаторам пришлось *крепко поработать*, чтобы противопоставить капризам погоды свою волю» (30 августа, 1-я полоса); «Но коллективам ферм нужно *крепко поработать*, чтобы повысить продуктивность скота, создать ощутимый „задел“ на будущее» (2-я полоса); «*Крепко помогли* коллективу и шефы — посланцы Новосибирского завода имени Чкалова» (25 сентября); «Слово свое колхозники *держат крепко*» (28 октября) и т. д. и т. п.

Не выигрывает в общем-то неплохая статья «Мостостроители накапуне реформы» (23 августа) от нагромождения спортивно-зрелищных, мифологических и прочих образов, потому что ни один из них не органичен в материале:

К годовому финишу обычно подходили с убытком в десятки тысяч рублей. По этой причине на всякого рода совещаниях коллектив восемьсот второго становился удобной мишенью для критических стрел...

Инженерно-технические работники мостопоезда активно включились в поиск ахиллесовой пяты, закрепившей за коллективом мало приятный эпитет «убыточный»...

Архимедовым рычагом, который помог коллективу выйти на рубежи рентабельности, стал хозяйственный расчет...

Но репешительно осуждая поставленные на поток стандартные выражения, не станем преклоняться и перед всякой кустарной поделкой, вроде вот этой: «Чтобы удовлетворить заявки столовых, на фабрике постоянно ищут все новые и новые резервы. При этом ставка сделана на два производственных „кита“: технику и людей» (21 ноября).

1 октября 1969 года Новосибирской областной газете-труженице исполнилось 50 лет. И мне хотелось бы свой, может быть, порою и слишком строгий разбор языка газеты закончить в стиле самой «Советской Сибири» — цитатой из хорошего фельетона Д. Золотова, опубликованного в юбилейном номере:

— Добрый вечер, — сказал метранпаж снизу, из типографии, — как там у нас насчет фельетона? Тут место оставлено.

— А разве удобно в юбилейном номере критику наводить? Торжество ведь, праздник!

— Удобно! — с убежденностью ответил старый конструктор газетных полос, — пока еще есть огрехи в работе, надо бить смехом по огрехам! И в будни, и в праздник!

В. Я. ДЕРЯГИН

**РУСЬ
В ИСЛАНДСКИХ
САГАХ**



«Кто из молодых людей, посвятивших себя исследованию Российских древностей и изучению Российской истории, особенно древней, не по-

святит себя на изучение языка исландского?» — восклицал Стефан Сабинин в предисловии к «Грамматике исландского языка», им же составленной и вышедшей в Петербурге сто двадцать лет назад. Образованный и любознательный русский исландист не только составил грамматику для соотечественников, но и перевел с древнеисландского языка одну из «Королевских саг» Снорри Стурлусона...

Снорри Стурлусон (1178—1241) был выдающимся деятелем Исландии, ее вождем, скальдом, историком и филологом. «Королевские саги», названные так потому, что история Севера запечатлена в них в форме жизнеописаний королей, были записаны Снорри в XIII веке и бережно передавали устную традицию, уходящую корнями в далекое прошлое скандинав-

ских народов. В «Королевских сагах» можно найти сведения по истории Норвегии, Швеции, Дании, Киевской Руси, Англии, Шотландии, Ирландии...

Наша Родина упоминается в сагах под названиями Гардарики, Большого Свитьода, упоминается в них и Новгород под названием Хольмгард. Гардарики — это страна городов, страна крепостей ... Самая древняя из саг — «Сага об Инглингах» начинается так:

«Круг земной, населяемый людьми, очень изрезан морями и большими заливами ... Мы знаем, что от Норвасунда [Гибралтар] вплоть до Иерусалимской земли протянулось море, к северо-востоку от этого моря лежит большой морской залив, называемый Черным морем. Этот залив находится между тремя частями света, делит их, восточнее от него простирается часть света — Азия, на западе же лежит Европа или Энея, одни зовут ее так, другие этак.

На севере от Черного моря раскинулся Свитьод, Большой или Холодный. Есть люди, считающие, что Большой Свитьод не меньше Большого Серкланда [Большая земля сарацинов]. Иные же полагают, что Большой Свитьод столь же велик, как и Большая Синяя Земля [Африка]. В северной части Свитьода мороз и холод, там нет никаких строений, а Южная часть Синей Земли представляет собою пустыню, опаленную солнцем. В Свитьоде много больших земель, много разных народов и языков, в Свитьоде есть великаны и карлики, есть синие люди [негры]. Много там всевозможных странных народцев, есть диковинно-большие звери и драконы. С гор, находящихся на Севере вдали от всех селений, стекает река, она течет вокруг Свитьода, правильное название этой реки Танаис [Дон], прежде ее называли Танаквисл или Ванаквисл, она впадает в озеро, что около Черного моря [Азовское море]. Страна, находящаяся вокруг Ванаквисл, называлась когда-то Ваналанд [Земля Ванов] или Ванакхейм [родина Ванов]. Эта река разделяет две части света: на востоке лежит Азия, на Западе — Европа».

Это, конечно, очень древние географические сведения. Несомненно, что «северный географ», предания которого бережно записал исландец Снорри Стурлусон, знал не только античных авторов, но и ванов и азов. Возможно, что упоминание об азах и ванах восходит ко временам росомонов — «мужей русских», по гипотезе советского историка академика Б. А. Рыбакова. О столкновении росомо-

нов с готами задолго до образования Киевской Руси сколько-нибудь упоминает готский историк Иордан, живший в VI веке.

Но вернемся к «Королевским сагам» Снорри Стурлусона. О чем же они говорят? Из истории известно, что при порвежском короле Харальде Прекрасноволосом, в IX и X веках, началось заселение Исландии, в основном выходцами из Норвегии. Норвежские знатные семьи, свободные бонды (крестьяне) и викинги покидали Норвегию, не желая подчиняться королевской власти. Приблизительно к этому времени и относится, если судить по нашей Несторовой летописи, появление на Руси в частности в Повгороде, варяжских дружин. Эти варяги были изгнанниками из Скандинавии и играли роль наемников-воинов в Русском государстве. Об этом говорится, например, в «Саге Эймунда».

«Сага Олава Трюггвасона» дает нам ряд интересных сведений о Киевской Руси, ее содержание тесно связано с событиями нашей древней истории. Герой саги Олав Трюггвасон, преследуемый врагами в Скандинавии, бежит с матерью в Киевскую Русь, но по дороге на его корабль нападают морские разбойники, и он вместе с родными и близкими попадает в плен, в Эстонию. Мальчика, королевского сына, продают в рабство, но от неволи его спасает Сигурд Эйриксон, варяг, предводитель русской дружины, собирающей дань с эстов: «Сигурд Эйриксон в ту пору собрался в Землю Эстов, он был послан туда новгородским князем Владимиром для сбора дани». Здесь уже отмечается сбор дани новгородским князем с эстов (с чуди), а этого Сигурда вполне можно сравнить с другим, известным по летописи, сборщиком дани, варягом Свенельдом, который состоял на службе у русского князя Игоря.

Олав Трюггвасон жил в Новгороде и в Киеве, при дворе великого князя Владимира. «В Гардарики [на Руси] был закон, по которому там не мог проживать никто из королевского рода, если он не получал на это разрешение самого русского князя». Такое разрешение Олав Трюггвасон получил: «Князь принял Олава под свое покровительство... Олав прожил на Руси, у князя Владимира, девять лет». Русский князь «любил его, как родного сына, приказал обучать его военным наукам, верховой езде и различным искусствам, также учтивости, свойственной человеку, готовящемуся управлять народами».

Бытовые подробности ярко рисуют нам Киевскую Русь того времени: «тогда господствовала еще религия языческая. У князя Владимира была мать, очень старая и слабая, так что она постоянно лежала в постели, но по внушению прорицательного духа предугадывала будущее, подобно многим язычникам, о которых говорили, что они предсказывают будущее и неведомые вещи. Был там такой обычай: в первый вечер праздника Уолы, когда усядутся по местам люди во дворце князя, была приносима старушка, ее помещали возле княжеского трона, и она предсказывала,— не предстоит ли какая опасная война князю или его народу, или что-либо подобное, когда ее об этом спрашивали».

Интересен эпизод, характеризующий русские законы той эпохи:

«Случилось однажды, что Олав стоял на торговой площади, где было великое множество народа. Там узнал он Клеркона, который убил его воспитателя Торольва [еще в ту пору, когда Олав Трюггвасон томился с родными и близкими в плену]. У Олава в руке был небольшой топор; он подошел к Клеркону и вонзил ему тот топор в голову, так что он проник до мозга». Олав убежал домой и рассказал все это Сигурду, своему родственнику, а Сигурд тотчас повел его во дворец княгини: «Ее звали Адлогией. Она, посмотрев на отрока, молвила: Не стоит умерщвлять такого пригожего мальчика» и приказала Сигурду созвать всех ее воинов в полном вооружении [чтобы защитить Олава от ожидавшей его за убийство расправы].

В Холмграде [Новгороде] мир был так священен, так строго соблюдалось там всеобщее спокойствие, что каждый, кто убил без суда другого человека, карался смертью».

Сага рассказывает о княжеских междоусобицах на Руси и о той роли, которую играл молодой наследник норвежского престола в подавлении междоусобиц: «Он [Олав] тех князей, которые несправедливо и разбойнически утвердились в землях, плативших дань князю Владимиру, одних убил, а других выгнал вон».

«У сильнейших конунгов [королей] того времени,— читаем в саге,— был обычай: супруга конунга имела половину гридней, содержала их на своем иждивении и получала на то казну и все, что нужно было. Так было и у князя Владимира: супруга его имела не менее гридней, чем он сам, и они очень спорили между собою о гриднях, ибо тот и другая хотели иметь их в своей службе».

Восемнадцать лет Олав Трюгвасон покидает Русь, вторично он возвращается сюда в период принятия Владимиром христианства, причем сага приписывает чуть ли не главную роль в этом Олаву. Будто бы еще десятилетним мальчиком он чувствовал предубеждение против языческих богов. Вполне возможно, что желание приписать скандинавам миссионерский подвиг связано с тем, что сага создавалась в период христианизации самой Исландии, которая относится к 1000 году, в то время как «крещение Руси» было уже в 988 году (известно также, что княгиня Ольга крестилась задолго до этого).

Среди «Королевских саг» Снорри Стурлусона есть «Сага Олава Святого». Это рассказ о династических связях норвежских королей с Киевской Русью. Олав Харальдсон [он же Олав Святой] долгое время находился в Киеве при дворе князя Ярослава Мудрого, будучи изгнанным из Норвегии.

Затем, набрав русскую дружину, он отправился на родину, чтобы отвоевать престол, и погиб в знаменитой битве при Стиклестаде (1030). К шведскому королю Олаву прибывают послы из Новгорода от князя Ярослава сватать королевскую дочь Ингигерду, к которой уже посватался норвежский король Олав Харальдсон, но шведский король предпочел отдать дочь за русского князя:

«Тогда он, скальд Сигват, узнал из письма, которое прислала ему дочь конунга Ингигерда, о том, что прибыли послы с Востока от хольмгардского [новгородского] конунга Ярослава к шведскому конунгу Олаву, чтобы посватать Ингигерду, дочь Олава, за конунга Ярослава, и конунг Олав отнесся к этому наилучшим образом... Весной снова прибыли из Новгорода послы от конунга Ярослава, чтоб выполнить то, о чем они договорились прошлым летом, когда конунг Олав пообещал выдать свою дочь Ингигерду замуж за конунга Ярослава. Конунг Олав поговорил об этом деле с Ингигердой и сказал, что он хотел бы, чтоб она вышла замуж за конунга Ярослава. Она ответила: „Если я выйду замуж за конунга Ярослава, то я бы хотела получить Алдейгьеборг [Старая Ладога] и все то княжество, которое находится вокруг этой крепости“». Послы Руси от имени своего князя согласились с этим. «Затем они летом все вместе отправились на Восток, в Гардарики [Русь], а потом Ингигерда стала женой Ярослава. У них были сыновья Вальдемар [Владимир], Виссесвальд [Всеволод] и Хольти Рябой...».

А вот как описывается жизнь изгнанника-короля Олава на Руси и его отъезд в Норвегию:

«Князь Ярослав и княгиня Ингигерда предлагали королю Олаву остаться у них и владеть государством, называемым Вулгария [булгары на Волге], это государство входило в состав Гардарики; народ там был языческой веры». Король Олав в конце концов решает отправиться в Норвегию: «Когда же король окончательно решил, что он отправляется на родину, он сообщил об этом князю Ярославу и княгине Ингигерде». Князь Ярослав Мудрый оказывает поддержку Олаву: «После рождества король уже был готов в дорогу. У него была дружина в двести человек. Князь Ярослав дал им всем коней и, кроме того, все то снаряжение, в котором они нуждались... Князь Ярослав и княгиня Ингигерда устроили ему торжественные проводы. Сына своего Магнуса король оставил у князя Ярослава. Потом король отправился на Запад, сначала по замерзшим рекам к морю, а когда наступила весна и сошел лед, снарядили они корабли».

О норвежском купце, который часто ездил торговать в Новгород, имя его было Гюдлейк Гардский [русский]: «чаще всего он отправлялся на Восток, в Гардарики, и поэтому был прозван Гюдлейком Гардским. В ту зиму Гюдлейк приготовил свои корабли и хотел отправиться летом на Восток, в Гардарики... Король Олав сказал ему, что он хотел бы дать ему кое-какие торговые поручения; он просил его купить в Гардарики такие драгоценные вещи, которые трудно достать в Норвегии... Гюдлейк приплыл в Новгород... там он купил прекрасную шелковую ткань, из которой, как он полагал, король сошьет себе плащ, а кроме того, дорогие кожи и роскошную скатерть».

Эта картина далеко не полная, на самом деле торговые связи Руси со Скандинавией были гораздо шире, но мы снова узнаем о том, как богат был Новгород, в котором можно было достать самые редкие товары. В «Саге Харальда Хардрада» можно прочесть о неоднократном пребывании норвежского короля Харальда Хардрада в Киеве, о сватовстве Харальда, о различных походах его, о том, как дочь киевского князя Ярослава Мудрого Елизавета стала норвежской королевой, выйдя замуж за Харальда. Одно время Харальд Хардрад служил под стягом князя Ярослава Мудрого, возглавляя его боевые дружины, служил Харальд и византийскому императору, много лет воевал у побережья Африки. Вдобавок он еще был за-

мечательным скальдом и воспел русскую княжну Елизавету Ярославну, будущую норвежскую королеву. Сага эта вдохновила поэта А. К. Толстого, создавшего замечательную историческую балладу о Харальде и Ярославе.

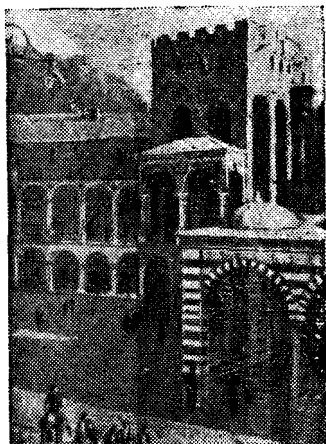
Мы только немного рассказали о тех драгоценных сведениях по истории нашей Родины, которые можно обнаружить в древнеисландских сагах, в частности «Королевских сагах». Мы не коснулись других саг, где идет речь о Киевской Руси. Много интересных подробностей о Киевской Руси XI века, в особенности о княжении Ярослава Мудрого, сообщает «Сага Эймунда». Она была записана со слов пятерых исландцев, которые пришли на Русь в конце 1015 года и были участниками многих походов Ярослава; древнейший список ее относится к XII веку. Можно назвать и другие исландские саги, например «Сагу об Ингваре-путешественнике» или «Сагу о Хервор и короле Хейдреке».

Историко-познавательная ценность этих саг значительно снижается их буйной фантастичностью, но ведь и фантастический элемент что-то значит: в глазах людей севера Русь (Гардарики) — страна бесчисленных городов (они и были!), сказочных богатств, диковинных зверей, дорогих товаров; и в фантастике, таким образом, можно найти отголосок вполне реального высокого развития страны. Летописцы и скальды севера в сагах и песнях отзываются о Руси и ее могучих князьях с большим уважением.

Не обо всем говорят нам саги и летописи. Находки археологов дополняют их сведения, заставляя вновь перечитывать и русские летописи, и исландские саги. Так, лучшей иллюстрацией к «Саге Харальда Хардрада» стали остатки так называемой «Харальдовой пристани», обнаруженные при раскопках в Новгороде.

К сожалению, «Королевские саги» до сих пор лишь в небольшой степени переведены на русский язык (см.: Древнесеверные саги и песни скальдов в переводах русских писателей. Вып. XXV. СПб., 1903). Более семисот лет терпеливо дожидаются они своего переводчика... Сейчас, когда советская исландистика переживает пору расцвета, назрела необходимость полного перевода «Королевских саг». Это порадовало бы всех любителей родной старины.

А. А. КИТЛОВ



Рильский монастырь

«Письмовник» Курганова в Болгарии

В № 3 журнала «Русская речь» за 1968 год опубликована статья Н. П. Панкратовой «„Письмовник“ Курганова». В ней говорится о значении этой широко популярной книги в истории русской культуры.

Вероятно, не многие знают, что знаменитому «Письмовнику» Н. Г. Курганова, выдержавшему у себя на родине, в России, одиннадцать изданий (1769—1837), книге, которую читали даже те, «кто вообще ничего не читал», суждено было получить известность и за пределами отечества. Хочется думать, что судьба «Письмовника» в Болгарии окажется не лишенной интереса для советского читателя, сердцу которого не могут быть безразличны судьбы отечественной книги за рубежом. Тем самым читателю откроется малоизвестная до сих пор страница русско-болгарских культурных связей.

Оказывается, что непосредственному воздействию «Письмовника» Курганова обязан своими первыми опытами в стихотворстве один из основоположников болгарской поэзии эпохи национального Возрождения, прогрессивный общественный и культурный деятель Петко Славейков (1827—1895). Славейков высоко ценил «Письмовник», о чем свидетельствуют его письма конца 40-х — начала 50-х годов прошлого столетия. Он даже перевел его (без «Грамматики») на болгарский язык и очень хотел издать.

В письме учителю города Габрово Цвятко Недеву (23 января 1847) П. Славейков пишет, что закончил перевод второй части «Письмовника» и что обе его части вместе с «Предисловием» готовы к печати. Меньше чем через месяц в другом письме, к тому же Недеву, Славейков вновь упоминает о переводе «Письмовника» и даже прибавляет к письму «Объявление» о его предстоящем выходе в свет, которое просит помочь опубликовать. В «Объявлении» Славейков обращается к своим соотечественникам с такими словами: «Любезные соотчичи! Явна польза от прочтения книг, известна и скудость в книгах на болгарском языке. Это последнее ежедневно повергало меня в скорбь и понудило взяться за перо и перевести „Письмовник“ Курганова, одиннадцать раз печатанную в России книгу, без Грамматики, и разделил я ее, как она разделена, на две части, ибо книга очень велика. Сейчас выпускаю объявление о первой части, которая будет содержать, кроме различных нравоучительных, полезных и занимательных повествований и описаний качеств более значительных Европейских народов, и разговор о Любомудрии, некоторые правила Стихотворства; будет еще украшена некоторыми переведенными и моими стихами. Уверен, что вы поможете изданию этой книги, а вместе и вновь рождающейся нашей литературе, записав свои имена со вспомоществованием».

Болгарский литературовед профессор С. Русакиев в своей книге «П. Р. Славейков и русская литература» (София, 1956) пишет о большом культурном и литературном воздействии «Письмовника» Курганова на Славейкова, для которого в течение ряда лет это была ценнейшая книга. Из него Славейков почерпнул и начатки знаний русского языка. Определенное познавательное воздействие оказало на него разнообразное содержание «Письмовника», вне всякого сомнения расширившее его культурный кругозор.

Усердно изучая в то время болгарский фольклор, Славейков ценил пословицы, поговорки и крылатые выражения, помещенные в «Письмовнике». Им он любил украшать свои письма, зачастую приспособлявая их к различным эпизодам из собственной жизни. Так, например, вдохновленный желанием работать на благо своего поработленного, лишенного культуры и просвещения народа, он цитирует в одном из писем выражение, взятое из «Письмовника»: «Нужда придает охоту, а прилежность труд преодолевает», сопровождая его (в порыве воодушевления!) сентиментальным восклицанием «ах!». В другом письме, жалуясь на одолевавшую его бедность, Славейков приводит поговорку: «Есть, что слушать, а нечего [он пишет *ничего*] кушать». Все в той же связи приходит ему на память и заимствованная у Курганова общеизвестная поговорка: «Терпи, казак, атаманом будешь».

Можно предполагать, что начинающий болгарский поэт и общественный деятель нашел в «Письмовнике», предлагающем «лучший способ основательного учения русскому языку», подходящее руководство в своем стремлении ближе приобщиться к русской культуре и изучить русский язык. Очевидно, при помощи книги Курганова Славейков сделал большие успехи в русском языке. Почерпнутый из нее материал он использовал и в своей педагогической работе.

Помещенные в «Письмовнике» стихотворные образчики («Сбор разных стихотворств» в «Присовокуплении V») дали Славейкову представление о русской поэзии XVIII века, о содержащихся в ней мыслях, о ее художественной форме и особенностях отдельных жанров. Об этом говорят и стихотворные опыты поэта тех лет. К сожалению, Курганов не нашел нужным указать имена авторов помещенных им стихотворных произведений, начинающихся «Эпитафией царице Наталье Кирилловне» (матери Петра I), что лишало читателя, в том числе и Славейкова, возможности познакомиться с именами лучших представителей русского Парнаса XVIII столетия.

Нельзя не считаться и с тем, что для 50-х годов прошлого века выбранные Кургановым образчики русской поэзии в значительной степени были устарелыми. Остается только пожалеть, что в эпоху, давшую русской литературе таких блестящих поэтов, как Пушкин, Жуковский, Батюшков, Лермонтов, Грибоедов, Крылов, Славейкову пришлось усваивать начатки поэтического мастерства и проникать в его тайны по образцам русской поэзии предшествующего столетия. Не случайно, что на вышедших из-под пера Славейкова в те годы стихотворных опусах лежит некоторый отпечаток отсталости, примитивности. Это было неизбежно, ибо таковы были предпосылки запоздавшего культурного возрождения болгарского народа, которые Славейков не мог, конечно, опередить или преодолеть. С подлинной русской классической поэзией он получил возможность познакомиться позднее по хрестоматиям А. Галахова, А. Филонова и по некоторым другим изданиям, попавшим в его руки.

В особенности полезным оказался для Славейкова «Письмовник» как книга, расширившая его литературное образование и познакомившая с элементами теории стихосложения. Они ввели самоучку-стихотворца в круг столь ему необходимых поэтических знаний. Из «Письмовника» Славейков узнал впервые о поэтических жанрах и видах: эпитафии, оде, эклоге, идиллии, элегии, стансах, мадригале, эпиграмме. А помещенные в нем образцы этих жанров наглядно иллюстрировали характерные их особенности и черты. Знакомясь с ними, Славейков пытался воспроизвести и

средствами еще не сложившегося и далекого от совершенства болгарского литературного языка той эпохи. Отсюда понятны трудности, которые приходилось преодолевать делающему первые шаги болгарскому поэту...

Вопреки горячему желанию Славейкова во что бы то ни стало издать болгарский перевод «Письмовника», намерение его не осуществилось, перевод так и не вышел в свет. Неизвестной остается и дальнейшая судьба рукописи перевода, не обнаруженной в архивном собрании поэта. Очевидно, рукопись навсегда утрачена. Это лишает нас возможности судить о ее объеме и подборе материала, о достоинствах и недостатках перевода. Не знаем мы и о том, как было встречено «Объявление» Славейкова. Не открыт и личный экземпляр «Письмовника», принадлежавший поэту и попавший к нему, по его словам, в 1846 году. Высказывается предположение, что Славейкову принадлежал экземпляр издания 1818 года, поступивший позднее в Софийскую народную Кирилло-мефодиевскую библиотеку. Но это неверно, поскольку, по его же собственным словам (в «Объявлении»), экземпляр Славейкова был одиннадцатым изданием «Письмовника» (1837).

Автору этих строк в настоящее время известны в Болгарии три экземпляра «Письмовника»: старейший (3-е издание — 1788) — в библиотеке Рильского монастыря-музея и по экземпляру двух последних изданий 1818 года — в Народной библиотеке в Софии и 1837 года — в личном собрании автора. К сожалению, в его экземпляре 1837 года (тем же изданием располагал и Славейков) нет каких-либо помет, дающих возможность установить имя прежнего владельца. Экземпляр хорошей сохранности, чистый, но явно бывший в употреблении, без отметок читавших его на полях. Не исключено, что отдельные экземпляры «Письмовника» будут найдены и в других книгохранилищах Болгарии, например в библиотечных собраниях так называемых «читалищ».

Не удавшееся (вероятно, не по вине Славейкова) издание болгарского перевода «Письмовника», разумеется, не может повлиять на оценку его весьма положительной роли в формировании творческой личности Славейкова.

Другим ревностным читателем и ценителем «Письмовника» Курганова в первой половине прошлого столетия был известный деятель болгарского возрождения, ученый игумен Рильского монастыря и автор «Болгарской грамматики» (1835) иеромонах Неофит Рильский. Личный экземпляр «Письмовника» в книжном собрании Неофита в библиотеке Рильского монастыря-музея — 3-е издание (1788), редкое теперь вообще. По словам автора «Очерков по истории новой русской литературы» А. Кирпичникова (СПб., 1896), в Петербургской Публичной библиотеке не было ни одного экземпля-

ра этого издания. В рукописном «Реестре» — каталоге личных книг, составленном Неофитом в 1855 году, хранящемся в монастырской библиотеке, рукой Неофита отмечено: «№ 100. Письмовник (русска книга изрядна)».

Купленный в Москве в 1795 году торговцем Николаем Хаджи Априловым, двоюродным братом известного болгарского культурного деятеля Василя Априлова, жившего в Москве и Одессе, «Письмовник» был приобретен Неофитом в 1835 году. Об этом мы узнаем из приписки Неофита на странице 6-й экземпляра «Письмовника»: «По прехождении же к различным притяжателям на конец достала ся до мене Неофита... иеромонаха рильскаго и учителя во 1835 л.». За книгу Неофит заплатил 50 грошей (турецких). Известно, что Неофит Рильский был в переписке с Априловым и в том же 1835 году был приглашен в качестве учителя в созданное Априловым первое классное училище в Болгарии — в Габрово.

Для Неофита «Письмовник» Курганова послужил своего рода самоучителем по русскому языку и был маленькой настольной грамматической и историко-литературной энциклопедией. Неофит дал ему высокую оценку, назвав «русской книгой изрядной». Известный русский ученый-славист и исследователь южнославянских древностей, казанский профессор В. И. Григорович, познакомившийся с Неофитом в дни своего пребывания в Рильском монастыре в июне 1845 года (во время поездки по Европейской Турции), писал о нем так: «Одаренный пытливостью и твердым характером, при самых ограниченных средствах, он приобрел познание, кроме славянского, в греческом древнем и новом, русском и сербском языках. Нельзя поверить, как малы пособия, которыми пользовался он в своих трудах. В русском языке, например, один лексикон и письмовник Курганова были его постоянными руководителями, с которыми он успел столько, что выражается на языке нашем с замечательною легкостью» (Очерк путешествия по Европейской Турции. М., 1877). Эта характеристика Григоровича нуждается в некотором уточнении. В овладении русским языком Неофиту действительно оказал неоценимую помощь «Письмовник», но, кроме него, он пользовался и другими русскими книгами, по которым вел преподавание еще в Габровском классном училище.

Об интересе, проявленном к «Письмовнику» Неофитом, говорят многочисленные заметки и приписки на полях раздела VII книги Курганова — «Словарь разноязычный, или Толкование Еврейских, Греческих, Латинских, Французских и протчих иноземских употребляемых в русском языке, и некоторых Славянских слов», содержащего вместе с «Прибавлением» около трех тысяч слов. Интерес Неофита именно к «Словотолку», как именует этот раздел для краткости Курганов, объясняется его давним тяготением к лекси-

кографии, которой он ревностно занимался наряду с занятиями болгарским языком.

Об увлечении Неофита лексикографией говорит большое количество различных лексиконов и словарей, в том числе и русских, среди его личных книг, сохранившихся до наших дней и внесенных в «Реестр». Из русских можно назвать, в частности, словари Ф. Поликарпова (1704), П. Алексеева (1817), Словарь церковнославянского и русского языка (1847), Лексикон П. Берынды (1627). Дело всей жизни Неофита было составление большого болгарского «Лексикона», ставшего, по остроумному замечанию историка болгарского Возрождения профессора И. Д. Шишманова, «утехой, надеждой, но в то же время кошмаром его дней и ночей». Из-за недостатка средств на издание «Лексикон», первую часть которого видел у Неофита еще В. И. Григорович, так и остался в рукописи, что причинило немалое огорчение автору. Отсюда понятно и внимание Неофита к «Словотолку» в «Письмовнике», поля которого испещрены заметками, поправками и дополнениями внимательно штудировавшего его болгарского лексикографа-самоучки.

Интерес Неофита к толкованию и переводу иностранных слов был вызван тем, что в современном ему болгарском языке слишком мало было иноязычных слов для обозначения отвлеченных понятий, научных, технических, общественно-политических и литературных терминов. В заимствованной лексике близкородственного славянского языка — русского — Неофит справедливо видел богатый источник, из которого мог черпать и отдельные нужные ему слова, легко воспринимаемые болгарской лексикой, и словообразовательные модели, по образцу которых можно было создавать недостающие в болгарском языке формы иностранных слов. Филологическое чутье Неофита, столь остроумно проявившее себя в «Филологическом предуведомлении» к его «Болгарской грамматике», не изменило ему и здесь, указав правильный путь для преодоления возникших в работе над «Лексиконом» трудностей.

Думал ли скромный составитель русского «Письмовника», отмеченного в пародийной оценке в пушкинской «Истории села Горюхина», что заглавие его книги попадет на страницы литературной истории одного из славянских народов, что его книга сыграет определенную роль в становлении культуры этого народа и оставит в ней положительный след? Как видим, реальные исторические обстоятельства превосходят подчас самые смелые предположения.

Профессор Н. М. ДЫЛЕВСКИЙ
София

*Из истории слов
и выражений*

Как изучается история отдельных слов



Каждое слово имеет свою историю, нередко многовековую, в продолжение которой оно переживало различные изменения в звуковом составе, в словообразовательных элементах и значениях. Задача науки этимологии заключается в том, чтобы установить происхождение и развитие каждого слова, учитывая все изменения, которые оно пережило.

Возьмем для примера слово *сердце*. В современном русском языке оно непроизводное, то есть состоит только из основы и окончания: *сердц-е*. В этой и многих других надежных формах (*сердца*, *сердцу* и т. д.) слово это произносится без *д*, как в польском языке, в котором оно так и пишется, по произношению: *serce*. Но такие формы, как *ссердец*, *сердечко*, *бессердечный*, напоминают, что в этом слове есть согласный *д*. Произношение *serce* объясняется тем, что сочетание *дц* перед глухим согласным *ц* переходит в *тц*, а *т* при этом поглощается звуком *ц*.

Но возникает другой вопрос: откуда взялся гласный *е* после *д* в приведенных формах (сердец, сердечко, бессердечный)? В памятниках древнерусской письменности, составленных более 900 лет назад, мы находим написания: сѣрдѣе (Остромирово евангелие); въ сѣрдѣи сѣкрыхъ — 'скрыл в сердце' (Изборник 1076 г.); сѣкроушенѣмъ сѣрдѣемъ — 'с сокрушенным сердцем' (там же). Древнерусские написания *сѣрдѣе*, *сѣрдѣи*, *сѣрдѣемъ* показывают, что после *д* был в ту пору ослабленный гласный звук, изображавшийся на письме буквой *ь*; со временем этот звук в одном («сильном») положении перешел в *е*, а в другом («слабом») исчез. Так, в форме *сѣрдѣе* после *д* и перед последующим гласным полного образования (неослабленным *е*) *ь* был в слабом положении, а в форме *сѣрдѣь* после *д*, попав под ударение, *ь* стал сильным и поэтому перешел в *е*. Выпадение слабого *ь* после *д* сблизило соседние звуки *дц* и привело к тому, что *дц* стало звучать как *ц*.

Этими причинами объясняются современные формы *сердце*, *сердец* (из сѣрдѣе, сѣрдѣь).

В *сѣрдѣе* -*ьц*- был суффиксом, как и в словах: конѣць (конец), коупѣць (купец), слѣпѣць (слепец) и других. Корнем *сѣрдѣе* (сердце) было, таким образом, только *сѣрд-*, что подтверждается и современными словами *сердобольный*, *милосердие* и т. п. В латышском языке сохранился этот древний корень в слове *sirds* 'сердце' (*s* после *d* — окончание). Если продолжить сопоставления дальше вглубь, то устанавливается, что начальный звук в *sirds*, *сѣрдѣе* произошел из *к*: ср., например, древнегреческое *kardia* 'сердце', отсюда и заимствованное из греческого *кардиограмма* 'графическое изображение работы сердца' (от греческого *kardia* 'сердце' и *грамма* 'запись').

Древний корень *сѣрдѣе* тот же, что у слова *середина*; первоначальным значением *сѣрдѣе* и было 'середина'. Это значение до сих пор сохранилось в слове *сердцевина*, в латышском *serde*; ср. еще старославянское: «Чръвъ срьдѣедѣбоудѣи оуваждаеть» (Червь, поедая сердцевину дуба, засушивает его) — (Супрасльская рукопись. XI в.).

Таким образом, чтобы установить историю слова *сердце*, оказалось необходимым сначала сопоставить различные образования от его основы в современном языке. В поисках объяснения причин различного произношения форм этого слова мы были вынуждены обратиться к древней-

шим памятникам нисъменности, а затем и к другим, но родственным языкам. В конце концов мы узнали, что древнейшим корнем слова *сердце* был k'rd- (г обозначает, что звук г был в нем слогообразующим), который в разных языках стал звучать неодинаково — в древнегреческом kard, латышском sird-, древнерусском сьрд-. Все эти закономерности звуковых соответствий в родственных языках объясняются в трудах по сравнительной грамматике славянских и — шире — индоевропейских языков.

Слова в языке могут быть не исконным наследием, а заимствованиями из других языков. Определить это иногда бывает не так легко. Для примера возьмем наречие *восвояси*.



В журнале «Русский язык в школе» (1968, № 3) опубликована заметка «Отправиться восвояси», в которой утверждается, что наречие *восвояси* получилось из сочетания *во своя вси*, где *вси* — из *вьсь* (весь) в значении 'деревня, поселок'.

Существительное *вьсь* (современное *весь*) — женского рода. Этого слова, по-видимому, в древнерусском языке не было: его нет в русских говорах, а белорусское *вёска*, очевидно, заимствовано из польского *wioska* 'деревня, поселок'. На вопрос «отправиться куда?» ответом должно быть «в свою *весь*», так же как «в свою деревню», «в свой город», потому что глагол *отправиться* требует дополнения в винительном падеже. Однако в предполагаемом словосочетании *въ своя вьси* форма *вьси* может быть только формой предложного (местного) падежа или, на худой конец, винительного множественного. Необъяснимой оказывается и форма местоимения *своя* вместо ожидаемой *своей*, если это предложный падеж, или *свои* (древнерусское *своѣ*), если винительный множественного. Кроме того, в оборотах *в свое поле*, *в свою деревню* предлог обыч-

но произносится как *в*. Почему же в слове *восвояси* тот же предлог звучит по-книжному — *во*?

Эти недоуменные вопросы говорят о том, что происхождение наречия *восвояси* из *въ своя въси*, по крайней мере, сомнительно. На самом деле наречие *восвояси* в русский литературный язык вошло из церковных книг, написанных на старославянском языке. Так, в рукописях XI века читаем: «Да разидеть сѧ къждо въ своѣ си» (Ассеманиево евангелие); в Марииинском евангелии этот текст читается без местоимения *си* и точно соответствует греческому сочетанию *eis ta idia* 'в собственные владения', переводом которого и является *въ своѣ си*. На современный русский язык этот текст можно перевести так: «Пусть разойдется каждый в свою сторону», буквально 'в свои владения'. Приведем еще пример: «ѡтпусти въ своѣ та и си» (Их отпустил в свои владения) — Супрасльская рукопись. XI в. В приведенных примерах находим двойное употребление местоимений *своѣ* и *си*. Такое употребление местоимений — один раз в полной форме, другой — в краткой — с древних пор было характернейшей особенностью болгарского языка. Ср. в современном болгарском языке: «Аз тебе те не слушам» (Я тебя не слушаюсь); «Пред себе си» (Пред собою); «Човек живее на само за себе си» (Человек живет не только для себя) и т. д. Другим славянским языкам, кроме македонского, эта особенность употребления местоимений не свойственна. Несомненно, что в памятниках старославянского (древнеболгарского) языка *въ своѣ си* — болгарская языковая особенность; при этом *своѣ* — винительный множественного среднего рода.

Оборот *въ своѣ си*, войдя в русский язык, со временем превратился в наречие, которое проникло даже в некоторые говоры русского языка: «Мы здися были для заработков, плотничали, а теперь идем к страде в своясы» (пермское).

Таким образом, наречие *восвояси* 'к себе домой' по своему происхождению в русском языке — церковнославянизм (подробнее об этом см.: А. С. Львов. Старославянское *въ своѣ си*. — Сб. «Проблемы истории и диалектологии славянских языков». М., 1970). Такие признаки анализируемого наречия, как необычное произношение предлога *во* вместо *в* и употребление двойного местоимения *своя си*, свойственное только болгарскому и македонскому языкам, помогли нам установить, что это не исконное русское слово.

Чтобы изучить происхождение и развитие слова, необходимо, как мы видели, владеть широкими и точными знаниями по истории звуков, форм склонения и спряжения, по словообразованию, семантике (значениям слов). Но и этого недостаточно. Надо еще владеть сравнительно-историческим методом, то есть умением находить правильные соответствия слову в других родственных языках. При соблюдении этих условий возможно установление единственно правильной этимологии слова.



Правда, есть одна этимологически простая группа — звукоподражательные по происхождению слова, вроде *шепот*, *ропот*, *топот* и т. п., в которых корни *шьп-*, *ръп-*, *тъп-* передают определенные звуки, а к ним присоединен суффикс *-от* (из *-ѣтъ* или *-отѣ*); в древности писали: *шьпѣтъ*, *ръпѣтъ*, *тъпѣтъ*. В частности, слово *хлопоты* — тоже звукоподражательное по происхождению, корнем его был *хлоп-*, а суффикс тот же — *-отѣ*. В одной рукописи XI века читаем: «Слышааше гласъ хлопота въ пещерѣ» (Слышал голос [звук] хлопанья в пещере). Здесь *хлопотѣ* употреблено еще в первичном значении. Позже слово *хлопоты* (множественное число) приобрело значение 'заботы, беспокойное занятие'.

Поскольку слова живут долго, даже тысячелетиями, часть из них потеряла свои бывшие родственные связи. Некоторые из них очень трудны для этимолога. Например слово *капуста* известно многим славянским языкам, но в других родственных неславянских его нет, а если и есть, то оно явно заимствовано из славянских языков. Источник этого слова остается неясным. По поводу его этимологии высказаны различные мнения, но ни одно из них пока нельзя считать бесспорным.

Доктор филологических наук
А. С. ЛЬВОВ

Хозяин



Слово *хозяин* в современном русском литературном языке отличается большой смысловой емкостью, силой экспрессии и очень широким разнообразным употреблением. Интересна его история, связанная с условиями жизни русского народа.

По происхождению *хозяин* — слово заимствованное. Оно берет начало от иранского (персидского) *chodža* 'господин', которое, пройдя через тюркские языки, первоначально закрепилось в русском в виде *хозя*. Первые отражения его в памятниках восточнославянской письменности относятся к XIV — XV векам. Сначала оно употреблялось только в узкой, специальной сфере. *Хозя* (и его варианты *хаджа*, *хожа*, *хозя*) использовалось в дипломатических актах Русского государства как почетный титул при именах татарских и вообще восточных (персидских, индийских) послов, знатных купцов, сановников. В таком употреблении оно проникло и в другие жанры древней литературы, например в летописи.

Укореняясь в русском языке, *хозя* постепенно получило типичное русское оформление. Оно приобрело суффикс единичности *-ин* (хозя-ин) и вошло тем самым в ряд русских образований со значением лица: крестьянин, боярин, горожанин. В этом новом виде слово *хозяин* широко распространилось, стало общерусским. Англичанин Ричард Джексон записал его на Севере — в Холмогорах или Архангельске — еще в первой четверти XVII века и поместил в русско-английском словаре-дневнике. Из словарей отечественного происхождения *хозяин* впервые отмечено в «Лексиконе трехязычном» Федора Поликарпова (1704).

Слово это, будучи своеобразным титулом для выражения почтительности к называемому им человеку, укреплялось в нашем языке в период образования на Руси национальных связей (XVII в.). То было время зарождения нового общественного класса — буржуазии. Слово *хозяин* стало широко применяться к любому лицу, владеющему минимумом недвижимого и движимого имущества (дом, земля, скот) и являющемуся товаропроизводителем, участником рыночных отношений. Хозяин — прежде всего домовладелец (и глава семьи), владелец двора, отдельного самостоятельного хозяйства, хотя бы и мелкого. Именно в этом значении слово впервые отмечается в словарях русского языка. Так оно использовалось и в официальном языке царской России.

С конца XVII — начала XVIII века *хозяин* появляется на страницах новой русской светской повести. Здесь им называется купец по отношению к своим приказчикам и слугам и вообще всякий владелец-собственник по отношению к наемным работникам, а также владелец дома — к проживающим в нем квартирантам. Обращает на себя внимание, что в характерной для XVIII века иерархии литературных жанров, построенной на теории трех стилей, *хозяин* используется в произведениях среднего и низкого стилей,



особенно часто в комедии, и не употребляется в жанрах высокого стиля. Это не случайно: ведь слово выросло на русской почве и не принадлежало даже к словам, общим для русского языка и церковнославянского.

Несмотря на иноязычное происхождение, слово *хозяин* глубоко вошло в язык, приобрело характер народного русского слова. Оно получило широкое применение в речи мелких товаропроизводителей-кре-

стьян, находившихся под гнетом помещиков и городского мещанского люда, посадских людей. Народный источник придал слову силу и выразительность. Оно распространялось на более высокие общественные слои торговой и промышленной буржуазии — купцов, заводчиков и фабрикантов, по мере того как они сами постепенно вырастали из крестьянства и ремесленного сословия, из мелкого производства, по выражению Ленина, рождающего капитализм и буржуазию «постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе». Остановилось это слово в своем распространении лишь перед классом дворян-помещиков, в применении к которым закрепились традиционные наименования *господин*, *барин*, ставшие в этих общественных условиях подходящим языковым средством для разграничения старых владельцев и новых.

Слово *хозяин* рано стало широко и выразительно употребляться в русском языке применительно к представителям торговой буржуазии — купцам. Российское купечество, при все возрастающей экономической мощи его, в течение долгого времени относилось к сословию непривилегированному и никогда не уравнивалось с дворянством. Вместе с тем оно не было чуждо своей купеческой гордости и тщеславию. Оно тоже отвоёвывало права на общественное признание, почет и уважение. На звание «господ» купцам было трудно претендовать, это звание имело длительную традицию применения к дворянскому классу, стоящему выше. Тем «титлом», который был нужен купечеству, стал *хозяин*. Яркие примеры употребления слова в купеческой среде мы находим в литературе XIX века, в особенности у А. Н. Островского.

Имея общее значение владельца, слово *хозяин* оказалось удобным средством и для обозначения всех других прослоек буржуазии. Оно стало названием сельского буржуа — кулака, прежде всего со стороны наемных работников-батраков. Отсюда возникли противопоставления: *хозяин* и *работник*, *хозяин* и *батрак*. Нарождавшийся с дальнейшим развитием капитализма слой промышленной бур-

жуази (заводчики и фабриканты) тоже стал обозначаться термином *хозяева* в противоположность поработенному им классу рабочих.

С распространением в России марксизма и марксистской публицистики слово *хозяин* в применении к капиталистам-эксплуаторам стало наполняться все более отчетливым социально-классовым содержанием. Хозяева — это классовые враги рабочих, на борьбу с ними направлена деятельность рабочего класса и его марксистской партии. Выразительные примеры мастерского использования слова *хозяин* в этом его новом значении дают нам сочинения Ленина.

В ленинских трудах впервые проводится четкое классовое разграничение: *хозяин* — простой товаропроизводитель, трудящийся крестьянин или кустарь — противопоставляется хозяину — эксплуататору, капиталисту, применяющему в своем хозяйстве — в мастерской, на фабрике или заводе — наемный труд пролетариев и полупролетариев.

В первом значении *хозяин* получает в работах Ленина характер политико-экономического термина, сложившегося на основе общего употребления этого слова в смысле владельца и главы хозяйства. В таком использовании мы не раз встречаем термин *хозяин* уже в наиболее ранней из всех дошедших до нас работ Ленина, в статье «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» (1893).

Считаясь с многозначностью слова *хозяин* и с большим вниманием относясь к точности словоупотребления вообще, Ленин часто сопровождает его уточнениями и пояснениями, словами-синонимами, устраняющими даже малейшую возможность разных пониманий в том или ином случае.

Острые классовые грани выступают в семантике слова, когда оно обозначает эксплуататоров. Так, в написанной особенно простым и душевным языком работе «К деревенской бедноте» (1903) Ленин обращается с горячим призывом к беднякам-крестьянам объединиться вокруг городского пролетариата на совместную борьбу против хозяев-эксплуаторов — заводчиков, фабрикантов, купцов и кулаков.

Класово осмысленному, политически целенаправленному использованию слова *хозяин* (*хозяева*) учились другие марксисты у Ленина. А. М. Горький мастерским использованием этого слова в художественных произведениях закреплял его новое значение в общем употреблении. Такие примеры можно найти в его произведениях, изображающих развитие рабочего движения в России — «Враги» (1905), «Мать» (1907) и т. д.

Жизнь слова *хозяин* непрерывно продолжалась и в других сферах употребления. Оно глубоко вошло в словарный состав языка.

В повседневном быту слово *хозяин* (и *хозяйка*) широко распространилось в смысле «владелец (постоянный или временный) какой-нибудь вещи»: хозяин галош, портфеля, хозяйка зонтика.



Оно рано начало использоваться для обозначения человека, принимающего у себя в доме гостей. Сопоставление *хозяина* (*хозяйки*) и *гостей* весьма обычно и в наше время. При этом *хозяин*, *хозяйка* употребляются без каких бы то ни было социально-классовых сословных, имущественных ограничений. Они издавна применяются и к весьма знатным, титулованным особам, и к совершенно нечиновным людям, в том числе к бедным крестьянам, лишь бы только они принимали гостей.

Очень устойчиво использование слов *хозяин*, *хозяйка* в значении квартиросдатчиков. В быту, в литературе и в официальном языке с одинаковым постоянством можно наблюдать такое употребление. Гоголевский чиновник Акакий Акакиевич снимал комнату у старухи-хозяйки. Многочисленные герои Достоевского, «бедные люди», снимали комнату, а то и просто «углы», в петербургских трущобах у разного рода хозяев и хозяек. Употребление этих слов определяется противопоставлением: хозяева — квартиранты, жильцы.

В народной крестьянской речи *хозяином* стали называть мужа, что в свою очередь тесно связано со значением «глава семьи». В высших сферах общества, особенно в среде дворянства, такого словоупотребления избегали, так как оно выглядело слишком низким.

С появлением в языке производных — *хозяйство*, *хозяйствовать* и других — в самом слове *хозяин* отчетливо выявилось новое значение, постепенно вызревавшее в нем: «человек, занимающийся хозяйственной — производственной, торговой, финансовой, экономической деятельностью, ведущий хозяйственные дела». В этом значении, как и в значении «человек, принимающий гостей», тоже не было ограничения каким-либо социальным кругом. Оно могло свободно применяться к дворянину-помещику, купцу, фабриканту, крестьянину, к любому из представителей интеллигенции.

●

С самой разносторонней семантикой вошло слово *хозяин* в литературный язык советской эпохи, которая внесла в употребление этого слова и много нового, своеобразного. Самое интересное относится, конечно, к социально-политическим, публицистическим сферам его употребления.

Большую публицистическую заостренность оно получило в значении «капиталист-собственник» (купец, фабрикант, деревенский кулак). Это значение, конечно, обращено в прошлое, связано с исчезнувшими из нашей действительности социально-классовыми группами. Тем не менее оно дышит жаром эмоций, именно всех тех отрицательных оценок, которыми неизменно окрашено отношение советских людей к старому эксплуататорскому миру.

Однако в этом значении слово *хозяин* находит у нас применение не только при непосредственной характеристике прошлых периодов общественной жизни, но и при обличении пережитков прошлого в современной действительности, когда отдельные работники обнаруживают те или иные нетерпимые качества прежнего хозяина-собственника: грубость, эгоизм, скаредность, прижимистость. Весь накал гневной, обличительной страсти, сосредоточенный в слове *хозяин*, изливается в таких случаях на голову критикуемого работника.

Вот, например, корреспондент «Литературной газеты» (28 июня 1962) критикует негодный стиль работы директора комбикормового завода Бычкова — человека, отставшего от жизни, не разбирающегося в новой технике, подменяющего организаторскую работу на производстве «разносами» подчиненных, запугиванием: «Наивно было бы думать, что Бычков только нервный человек с эпизодическими срывами „в зависимости от обстановки“. Крики и оскорбления — это только следствие, так сказать, продукт психологии. А психология Бычкова зиждется на том, что он — хозяин. Только „хозяин“ может отвечать председателю завкома: „Меня ваше мнение не интересует!“. Только „хозяин“ мог в течение трех лет обедать при заводе и не платить ни копейки. Кто другой, как не „хозяин“, решится забрать холодильник из заводского детсада для личного пользования... Но на советском предприятии не может быть „хозяина“, есть руководитель и между этими понятиями — дистанция в сорок четыре года».

Понятно, что *хозяин* в значении ‘капиталист, предприниматель’ употребляется у нас и в тех нередких случаях, когда идет речь о представителях мира капитализма.

Хозяин (хозяева) применяется также для обозначения определенных империалистических кругов и разведок буржуазных государств по отношению к их ставленникам в правительствах и вообще администрации зависимых стран, к агентам, шпионам и диверсантам, засылаемым в страны социализма и молодые независимые государства или вербуемым на месте из продажных людей. Здесь *хозяин* связано с понятием ‘наниматель’ и служит раскрытию всей глубины падения и социальной вредности таких лиц.

Семантическая емкость слова *хозяин* в современном литературном языке такова, что описанному выше, идущему от прошлого значению противопоставляется новое значение, основанное на обобщенно-переносном использовании слова: ‘человек, обладающий властью над чем-либо, полноправный распорядитель в какой-либо области, свободный и независимый человек, сам определяющий свою жизнь и судьбу’. Советская эпоха дает возможности для широкой реализации этого значения. Ср. например: «О продукции своего завода он говорит с гордостью. Как хозяин. Да, он хозяин своего завода, хозяин своей страны, хозяин своей судьбы — этот московский рабочий Виктор Ермилов» («Правда», 17 декабря 1961); «Молодые люди, студенты высших учебных заведений завтра станут полноправными хозяевами промышленности и сельского хозяйства» («Комсомольская правда», 12 сентября 1962).

В основе такого изменения значения слова *хозяин* лежит осуществленное Великой Октябрьской социалистической революцией преобразование самой собственности на землю, орудия и средства производства, ликвидация частной собственности и превращение ее в социалистическую собственность. Владельцем, реальным и единственным хозяином всех этих ценностей, составляющих фундамент общественного и личного благополучия, является народ. И каждый член общества, своим трудом участвующий в создании общенародных богатств, разделяет со всеми другими эти права и обязанности хозяина.

Со словом *хозяин* в этом новом значении в языке советской эпохи создаются разнообразные устойчивые обороты. Через литера-

туру, через массовые песни они закрепляются в общем употреблении:

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.

Мы покоряем пространство и время,
Мы молодые хозяева земли.

В. И. Лебедев-Кумач

Хозяин в применении к целому народу, к его отдельным поколениям, наконец, к каждой личности теперь широко используется в сочетании со словами, выражающими самые высокие ценности бытия: хозяин своей судьбы, хозяин будущего, хозяин времени, хозяин страны и т. д.

В результате развития этого значения семантика слова настолько раздвоилась, как будто между старым и новым значением образовалась целая пропасть. Подобные случаи в свое время отмечал академик Н. Я. Марр, подчеркивая социальную обусловленность этого процесса и видя в нем одну из общих закономерностей семантического развития слов.

В современном литературном языке слово свободно приобретает высокую стилистическую окраску. Во многих случаях оно выступает в роли таких традиционных средств высокого и поэтического слога, как *господин*, *ладыка*, *повелитель*, *властелин* и даже *царь* в их переносном использовании. В советских условиях эти слова утратили былую стилистическую эффективность. Наша эпоха создает новые стилистические языковые ценности; одним из таких новых высоко эмоциональных и выразительных средств стало теперь слово *хозяин*.

Интересна история употребления слова *хозяин* в значении лица, руководящего хозяйством, производством. В нашей стране хозяйственная жизнь выражается в работе государственных предприятий, совхозов и колхозов. «Прочной экономической базой общества стала социалистическая собственность на средства производства» (Программа КПСС). Поэтому слово *хозяин*, содержащее смысловой оттенок собственности лица на руководимое им хозяйство, не применяется к советским хозяйственным руководителям. Их стали называть новым словом — *хозяйственник*.

Еще одно очень важное значение «хозяйственный человек, расчетливый, бережливый, сообразительный в делах, предприимчивый, трудолюбивый, идущее из глубин народного языка, сложилось в прошлом в среде мелких и средних сельских хозяев, имевших не только душу собственника, но и душу труженика, без которой они вообще не могли бы создать своих хозяйств. Именно качества труженика образовали это значение слова.

В наше время слово в таком положительном смысле употребляется исключительно широко. Советские руководители производства — хозяйственники должны быть людьми хозяйственными. Поэтому вполне возможно сочетание слов *хозяйственник* и *хозяин*, имеющих разные значения в применении к одному и тому же лицу: «Чтобы быть советским хозяйственником, мало иметь техническую подготовку. Нужен еще талант рачительного хозяина, экономическая смекалка, умение считать государственную копейку,

заботиться о государственных доходах, нужна, если хотите, предпримчивость в хорошем понимании этого слова» («Известия», 13 мая 1962).

Пределы употребления слова *хозяин* в этом значении не ограничиваются руководителями производства (хозяйственниками). В условиях советской социалистической демократии в управлении хозяйством, в решении вопросов производственной жизни принимают участие и рядовые работники. Каждому советскому труженику необходимы указанные качества умелого хозяина.

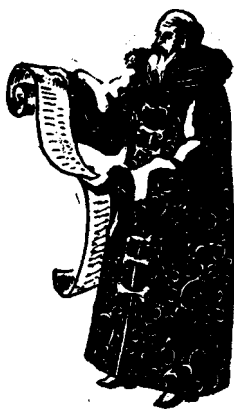
Хозяин — труженик, создатель всех жизненных благ, и хозяин — свободный, полноправный обладатель и распорядитель ими — сливаются у нас в одном и том же лице. Тем самым складывается чрезвычайно разнообразное употребление слова *хозяин*, семантика его становится особенно сложной и гибкой. В современном русском литературном языке оно выступает с необычайным богатством семантических оттенков. При таком исключительно широком диапазоне использования возникает опасность «затаскивания» слова, утраты им смысловой четкости. В этих условиях совсем не лишней представляется общественная забота о правильном и наиболее эффективном его использовании. Не случайно о слове *хозяин*, о путях и способах его употребления, о его смысловой наполненности нередко специально высказываются в нашей печати писатели, журналисты, публицисты.

Доктор филологических наук
А. М. ИОРДАНСКИЙ

Посол

К числу древнейших русских дипломатических терминов относятся слова *сол* и *посол* (древнерусские *сълъ* и *посълъ*). Они обозначали доверенное дипломатическое лицо, представителя, официально уполномоченного действовать в международных сношениях от имени правителя, государя, князя. Употреблялись эти слова и в недипломатическом значении — «посланный, исполняющий поручение, посланец, вестник».

Широко представлены оба дипломатических термина в летописях, отражающих события с IX века: «Мы от рода



рускаго сълы и гостье. Иворъ соль Игоревъ, великого князя рускаго и обчий сли [послы]» (Лаврентьевская летопись. Договор 945 г.); «Миндовгови же приславшю слы своя река [говоря]...» (Ипатьевская летопись. 1252); «И рече Блудъ къ послом Володимеримъ» (Лаврентьевская летопись. 980). В грамотах употребляется только *посолъ*: «Подтвердихомъ мира старого с посломъ Арбудомъ» (Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 1189). Слово *солъ* мы находим только в древнейших летописях — Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской I: при описании событий, относящихся к X веку, оно встретилось нам 54 раза, XI веку — 11, XII веку — 15, XIII веку — 5; позже оно уже совсем не наблюдается. Зато активность слова *посол* особенно возрастает с XII века.

Таким образом, термин *посолъ* уже к XIV веку вытеснил из языка синонимичное слово *солъ*. Это было обусловлено, по-видимому, грамматическими причинами. Существительное *солъ* образовано от глагола *сълати* (слать), а *посол* — от *посълати* — приставочного к *сълати*. Оба глагола составляли видовое противопоставление, в котором глагол *посълати* содержит указание на внутренний предел действия, на действие в его неделимой целостности (признак совершенного вида), а соотносительный глагол *сълати* не содержит такого указания (признак несовершенного вида). Не удивительно, что в речи, когда необходимо было сообщить о посылке дипломатического уполномоченного, чаще использовалось слово *посълати*. Оно значительно чаще втягивало в связь с собой существительное *посол*, чем *сол*. Об этом говорят, например, такие данные: глагольные формы с бесприставочной основой (в сочетаниях *сълати сълы*, *посълы*) в рассказе о событиях X—XV веков встретились нам всего 14 раз, сочетание *посълати сълы* — 22, а *посълати послы* — 118. Глагол *посълати* и передал свою «силу» производному от него существительному *посолъ*.

Термин *посол* — самое общее название дипломатических уполномоченных этого ранга. Для более точного обозначения лиц, наделенных теми или иными правами в зависимости от важности и цели посольства, силы полномочий, с XIV века в дипломатическом языке появляются составные наименования, представлявшие собой сочетания стержневого слова *посол* и прилагательных. Ряд прилагательных, сочетаясь со словом *посол*, нес на себе так называемую комплиментную, или этикетную, функцию,

например в составных терминах: сильный посол, большой посол, великий посол, полномочный посол, великий и полномочный посол, чрезвычайный посол, чрезвычайный и полномочный посол.

Сильный посол. Так именовались обычно ордынские послы, не только облеченные большой властью, но и опирающиеся на вооруженную силу: «Пришелъ бо бяше посолъ силенъ из Орды, именемъ Ахмылъ, и много створи пакости по Низовьской земли, много посече христьянъ, а иных поведе въ Орду» (Новгородская I летопись, под 1322 г.). Этот термин, отмеченный в основном в летописях, не имел большой активности по крайней мере в письменной речи.

С начала XIV века в дипломатический обиход входит составной термин *великий посол*, обозначавший послов, наделенных большими полномочиями, силой, властью: «Ту же приехавше послы великы от свеиского [шведского] короля и докончаша миръ вечныи съ князем и с Новымъ-городомъ по старой пошлине» (Новгородская I летопись, под 1323 г.); «Послали есмя до вас послов наших великих ... с нашими речми» (Сношения с Польско-Литовским государством, документ 1494 г.); «Посылали мы ... с нашею царского величества подтверждающею грамотою великого посла» (Письма и бумаги Петра Великого. 1700).

Наряду с составным термином *великий посол* с конца XV века употреблялся близкий ему по смыслу и образованию термин *большой посол*: «А по семъ наши болшии послове будутъ, посадники и бояри, бити чоломъ тебе осподарю своему» (Псковская II летопись, под 1485 г.); «Ты послал князя Кубенского болшого посла» (Сношения с Крымом, документ 1501 г.). Сопоставление контекстов позволяет говорить о синонимичности терминов *великий посол* и *большой посол*. Они нередко перемежаются в пределах одного связного текста: «И в грамотах перемирных межи нас написано, что нам меж себя на обе стороны слати своих великих послов... и брат наш и сват своих болших послов и до сех мест к нам не присылывал» (Сношения с Польско-Литовским государством, документ 1529 г.). Термин *большой посол* прослеживается по памятникам до 60-х годов XVII века, тогда как *великий посол* вплоть до XVIII века.

По мере расширения прав послов именования их *большими*, *великими* оказывались недостаточными. Требовались новые определения, говорящие о той полной власти,

которой наделялись послы, отправлявшиеся с поручением решать важные межгосударственные вопросы: В конце XVI века в русском дипломатическом языке впервые появился составной термин *полномочный посол* — ‘посол, наделенный полной властью, достаточными правами для ведения переговоров, заключения мира и т. п.’ Судя по первым употреблениям его в текстах, переведенных с немецкого и шведского языков, можно полагать, что в русском дипломатическом языке этот термин образовался как калька. Термину предшествовали другие словосочетания, отражающие поиски нужного термина: чиновные и велемочные послы (1561), полноприказный посол (1570), исполна приказный посол, полный и великий посол (1575), сполномочный посол (1584). С начала XVII века термин *полномочный посол* используется в русской дипломатической сфере постоянно: «Им город Корелу с уезды отдати и очистити мне и моего велеможнейшаго короля полномочным послом не мотчая [медля]» (Договорная запись Скопина-Шуйского с шведским секретарем Карлом Олусоном. 1609).

Для передачи значения ‘облеченный большими правами’ в XVII веке широко употреблялось сочетание двух прилагательных и стержневого слова *посол*: *великий и полномочный посол*, реже *большой полномочный посол*.

В XVII веке в западноевропейской дипломатии получила широкое распространение практика учреждения постоянных представительств. Однако продолжали сохранять силу и чрезвычайные посольства, отправляемые в особо важных случаях. Во главе такой миссии стоял *чрезвычайный посол*. Термин этот (фразеологическая калька с латинского *extraordinarius legatus*) впервые встретился нам в документе 1675 года «Памятники дипломатических сношений России с Римской империей». Употреблялся он, как правило, по отношению к иностранным дипломатическим представителям: «Папа римский ... чрезвычайных послов христианским государем посылающе ...» (документ 1688 г). Чрезвычайными послами нередко именуются и русские дипломаты, при официальном их титуле — великий и полномочный посол. Со второй половины XVII века входит в обычай именовать чрезвычайными и обычных послов, возглавляющих постоянные представительства в столице какой-либо страны.

В самом конце XVII века появляется словосочетание *чрезвычайный и полномочный посол* ‘посол, наделенный

особо важными полномочиями? (компоненты его еще не имели твердо установившегося места): «Известно ... чрезвычайным и полномочным послом... царского величества»; «Сей от мирных договоров с Оттоманскою Портою паки назад возвратившийся полномочный и чрезвычайный посол Прокопий Возницын» (Памятники сношений с Римской империей).

Составное наименование *чрезвычайный и полномочный посол* употребляется и в наше время, но для обозначения дипломата первого ранга, возглавляющего постоянное представительство в иностранном государстве.

Ф. П. СЕРГЕЕВ,
доцент Ивано-Франковского педагогического института

Знаете ли вы слова песни?

Пойду ль я, выйду ль я,
Пойду ль я, выйду ль я,
Во ..., во долинушку,
Во ..., во широкую.



Это отрывок из известной русской народной песни с пропущенными словами. Какими? Обращение к печатным источникам рисует самую пеструю картину:

Пойду ли, выйду ль я,
Во дол, во долинушку.

Соболевский И.
Великорусские народные песни.
Т. IV

Пойду ль я, выйду ль я,
Вдоль я на ночь по долине.

Там же

Пойду я, выйду я,
Во доль, во долинушку,
Во даль, во широкую.

Костромской
этнографический сборник. Т. III

Пойду ли, выйду ль я,
Во даль, во даль широкую,
Во даль, во широкую.

Русские народные песни
(записанные в Ленинградской
области в 1931—1949 гг.).
Л.—М., 1950

На нашу просьбу вставить пропущенные слова мы получали также разноречивые ответы: во до ль — во долинушку; во поль — во долинушку и т. д. Какой из этих вариантов считать правильным? По нашему мнению, только первый, и вот почему.

В современном русском языке широко употребительно слово *долина* 'равнина, большая впадина между какими-либо возвышенностями в горной или холмистой местности'. Это очень старое слово. Оно было уже в общеславянском языке. Но еще древнее существительное с тем же значением, от которого оно само образовано. Это существительное *долъ*, известное и донныне большинству славянских языков. Оно часто встречается в русской классической литературе: «Там лес и дол видений полны» (Пушкин. Руслан и Людмила); «За горами, за долами Уж гремел о нем рассказ» (Лермонтов. Два великана); «Пестрел деревнями, дорогами дол» (Некрасов. Накануне светлого праздника).

Чем же объяснить, что в славянских языках, в том числе и в русском, оказалось два однокоренных слова с одним значением? Почему более позднее образование вытеснило из общего употребления своего предшественника? В общеславянском языке, как и позднее в русском, существовал экспрессивный суффикс *-ин-а*. Он мог, не изменяя вещественного значения слов, к которым присоединялся, придавать им выразительность (см.: В. И. Максимов. Загадка суффикса *-ин-а*. — «Русская речь», 1969, № 1). Производное *долина* в древний период и было таким экспрессивным образованием. В этом качестве оно до сих пор выступает в народных песнях, например: «Пойду я млада долом-долиною, Навстречу мне казак молоденек»; «А по-під горою долом-долиною Казаки идуть».

Уже в древнерусских памятниках производное *долина* встречается только в одном, современном значении: «Сеножать на Моисееве долине объездна» (Жалованная грамота польского короля Казимира, после 1340 г.). А существительное *долъ* было многозначным. Оно чаще употреблялось не в значении 'долина', а в других — 'низ', 'яма' и даже 'желобоватая выемка': «Въ той же церкви есть другая хоромина на доле, на земли писко» (рукопись Даниила игумена); «Въ то творимое въ долъ ть въводяши» (Хроника Георгия

Амартола); «Сабля Турская булатна, съ кованым доломъ» (рукопись времен Бориса Годунова). Поэтому *долина*, как слово однозначное и первоначально более выразительное, естественно, имело преимущество в употреблении перед *долом*. Оно и стало постепенно вытеснять из общего употребления слово *дол* в том же значении, но одновременно само теряло экспрессивность. «Материалы для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского свидетельствуют, что слово *долина* употреблялось свободно в смысле выбора грамматической формы (ср.: долина, по долинам, въ долину, изъ долины, на долине, подобенъ долине и т. п.), в то время как *долъ* стало употребляться обычно в форме творительного падежа единственного числа, превращаясь в наречие *долом*.

Должно быть, к XVII веку существительное *долъ* уже значительно сужает сферу употребления, а его место в языке занимает производное с суффиксом *-ин-а*. Так, в картотеке «Словаря русского языка XVIII века» (Ленинград) слово *долина* явно преобладает. К тому же эти слова отличаются и по своему характеру. Если *дол* встречается большей частью в цитатах из стихотворных произведений, то производное от него — в литературных произведениях самых разнообразных жанров. Ранее экспрессивное образование *долина* становится стилистически нейтральным. Об этом говорит и появление в языке вторичных производных *долинистый*, *долинный*, отмеченных в словарях XVIII века.

Существительное *дол* в том же значении, что и *долина*, словарями современного русского литературного языка характеризуется как «устарелое» или «устарелое и поэтическое», а в других значениях — ‘низ’, ‘пол’, ‘болотистый исток реки’, ‘овраг’ — как диалектное. И эта характеристика вполне справедлива. Именно архаизацией, уходом из живого употребления существительного *дол* объясняется стремление наших современников сопоставить его с известными им словами (вспомним текст приведенной песни), переосмысление его в плане народной этимологии. Не случайно, что текстологически наиболее правильная запись песни относится к XIX веку, когда выражение *во дол* еще у многих ассоциировалось с *долом-долиной*. Чем ближе к нашему времени, тем больше преломляется в языковом сознании значение этого выражения, тем дальше оно от первоначального. Ср.: *во дол* — *во доль* (понимаемое как сокращенное от *долина*), *вдоль* (наречие), *во даль* (ассоциация с *далью*), *во до ль* (с выделением вопросительной частицы *ль* при вставочном для ритма *до*, по-видимому, под влиянием предшествующих форм *пойду ль*, *выйду ль*), *во поль* (объясняемое «переходом» в среднерусских говорах существительного *поле* в категорию слов женского рода).

Можно указать еще на случай ассоциации непонятого слова *дол* с более близким *доля* в других народных песнях:

Он [сокол] ушиб-убил лебедь белую,
Он кровь точил во синее во море,
Он пух пушил по поднебесью,
Он перышки при долинушке,
Он перышки по долинушке.
При той доле девка перышки брала,
Брала перья лебединые.

Соболевский И.
Великорусские народные песни. Т. II

В списке незнакомых слов, приложенных к этому тому сборника Соболевского, начальная форма выделенного существительного восстанавливается как *доля* (женский род) 'долина'. Однако такого слова, судя, по крайней мере, по известным нам источникам, в русском языке нет. К тому же в предложном падеже тогда должна была бы быть форма *при доли*. Значит, в момент записи этой песни выражение «при той доле» скорее связывалось с существительным *доля*.

Теперь мы не ошибемся, если на месте точек в отрывке из народной песни, приведенном вначале, поставим слово *дол*: «Во дол — во долинушку». А в заключение приведем присловья и частушки, где встречаются такого же рода производные слова и сочетания с ними:

На то и хмель,
Чтобы по дубу виться,
На то и дуб,
Чтобы хмелинушку держать.

Как по етой по тропы,
По етой по тропиночке
Разрывает мое сердце
На две половиночки.

Я Ваню опояшу
Черпенькой вербиночкой,
Десять разочков поцелую,
Назову кровинушкой.

Ой гора, гора,
Гора-гориночка,
Поверьте, девочки,
Я сиротиночка.

В. И. МАКСИМОВ
Ленинград

Хоть пруд пруди



Выражение (*хоть*) *пруд пруди* употребляют в разговорной речи, когда хотят сказать о чем-нибудь имеющемся в большом количестве, изобилии. Слова *хоть* в нем может и не быть «[Герман:] Кретин Валерик, что удрал с Сахалина. Черта с два он чего-нибудь стоящего добьется в Ленинграде. Здесь т-такими Валериками пруд пруди, а там его держали за высшую интеллигенцию» (Панова. Проводы белых ночей).

Значение этого фразеологизма находится на пути некоторой идиоматизации (затемнения связи со значениями составляющих его слов). Как известно, фразеологизмы бывают разных типов: значение одних определяется значениями входящих в них слов (поймать на удочку — 'хитрыми уловками вынудить кого-либо сделать что-либо', набрать в рот воды — 'хранить упорное молчание, ничего не говорить', строить на песке — 'основывать на очень шатких, ненадежных данных'); значения других (идиом) никак не подсказывается значением составляющих слов (собаку съел — 'приобрел большой опыт, навык, основательные знания в чем-либо', строить куры — 'ухаживать за кем-либо, заигрывать', точить лясы — 'пустословить'). Есть и такие, которые находятся на пути перехода из первого типа во второй; к ним относится (*хоть*) *пруд пруди*. Смысл его некоторые даже пытаются объяснить так: 'кого-, чего-нибудь столько, что ими (им) можно наполнить пруд'.

Какие же причины вызвали идиоматизацию устойчивого словосочетания (*хоть*) *пруд пруди*, нарушили первоначальную связь значений словосочетания и составляющих его слов? Такими причинами были изменение значения слова *пруд* и переход глагола *прудить* в пассивный запас.

Прудить в своем единственном значении 'устанавливать пруд, перегораживая плотиной реку, ручей' в русском ли-

литературном языке последних десятилетий употребляется крайне редко. Пассивен этот глагол и в словообразовании: так, приводимые Далем производные *выпрудить* (плотину) 'кончить', *отпрудились* 'кончили', *подпрудить* (Подпрудили реку и подтопили деревню), *распрудить* 'прорыть плотину' в современном литературном языке практически не употребляются.

Некоторое исключение в этом отношении составляет глагол *запрудить* (совершенный вид к *прудить*): «[Ручей] был запружен небольшой плотиной и разлился в узкий пруд» (Паустовский. Рождение моря).

Прудъ в древнерусском языке употреблялось в значении 'место разлива реки, ручья перед плотиной', но не имело более обычного для нас значения — 'водоем в выкопанном или естественном углублении с непроточной водой'. Глагол *прудити* тогда активно использовался со значением 'перегораживать плотиной реку, ручей', свободно сочетаясь с существительным *прудъ*. Таким образом, словосочетание *пруд прудити* имело в древности прямое значение 'сооружая плотину на реке, ручье, устраивать пруд'; с этим значением оно обычно использовалось в деловой речи, превратившись в наименование крестьянской повинности: «Большим людемъ ...на невод ходити, пруды прудити» (Памятники русского права); «Подъ деревнею на усть Октоши речки пруды прудять» (Переписная оброчная книга Вотской пятины).

Несомненна некоторая избыточность, тавтологичность сочетания *прудъ прудити*, представляющего собой сочетание двух однокоренных слов. Это, по-видимому, послужило впоследствии одной из причин исчезновения его из свободного употребления. В более поздних памятниках письменности для передачи прямого значения, выражавшегося прежде словосочетанием *прудить пруд*, начинает использоваться другое словосочетание — *делать пруд*. В «Материалах для истории, археологии и статистики г. Москвы» И. Е. Забелина читаем: «Патриарх ...указал, где сделать новый пруд..., ходил смотреть пруда, что делают вновь на речке».

В русском языке XIV—XVII веков у слова *пруд* расширилось значение: им стали называть всякий небольшой водоем с непроточной водой, независимо от способа и места его сооружения. Об этом можно заключить по таким примерам: «[Крестьяне] и коня моего не кормят, и лугов не косят, и сена не возят, и прудов не копают» (доку-

мент 1534 г.); «Около тое обители ископа пруды» (Житие Феодосия Астраханского, рукопись XVII в.).

Как видим, пруды уже не только *прудят*, но и *копают*. Новое значение закреплялось за словом *пруд* очень медленно. Долгое время, чтобы выразить это значение, требовалось специальное словесное окружение: «Промеж Запасного и Ляняного дворов пруд копанный без воды да позадь Запасного двора пруд копаной же» (И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей в XVI—XVII вв.); «Да в городе пруд-копанец в длину 42 сажени, поперег 9 сажень...» (документ 1636 г.); «Пустошь, что была деревня Мартыново, на пруду на копанце» (документ 1614 г.).

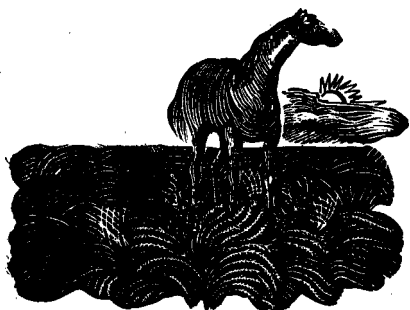
Развитие нового значения *пруд* способствовало некоторому затемнению значения словосочетания (*хоть*) *пруд пруди*. Однако появление современного фразеологического значения относится еще к тому времени, когда обычным было свободное сочетание слов *пруд прудить* 'сооружая плотину на реке, ручье, устраивать пруд'. Современное значение сложилось путем сравнения: на возведение *плотины*, само собой разумеется, шла огромная масса дешевого, «бросового» материала (земли, камня).

Такое же переосмысление у подобных словосочетаний произошло в белорусском и украинском языках. Интересно отметить, что в белорусском языке значение *пруд* развивалось в ином направлении, чем в русском: здесь у него появилось значение 'мельница на реке', а для названия 'водоема (в естественном или выкопанном углублении) с непероточной водой' стало использоваться слово *сажалка*. В белорусском языке русскому выражению (*хоть*) *пруд пруди* соответствует (*хоць*) *гаць гаці*: «І адкуль іх [полицейских] гэтулькі сабралася, хоць гаць гаці» (Машара, Лукішкі). По-белорусски *гаць* — 'настил из бревен или хвороста для проезда через топкое место' или 'плотина'; *гаціць* — 'настилать бревнами, хворостом топкое место для проезда' или 'перегораживать поперек реку, ручей'. В украинском этому выражению соответствует (*хоч*) *греблю загати*: по-украински *гребля* — 'плотина', *загати-ти* — 'перегородить плотиной реку, ручей'.

Употребление выражения *хоть пруд пруди* без союза *хоть* (*пруд пруди* — кем? чем?) нужно считать более поздним, вторичным: возможно оно лишь при условии существования фразеологизма *хоть пруд пруди*. Подтверждением этому служат многочисленные случаи фразеологизации уступительных придаточных предложений: *хоть*

глаз выколи; хоть завались; хоть кол на голове теши
хоть лопни; хоть отбавляй; хоть плачь; хоть разорвись
хоть трава не расти; хоть шаром покати и др. Лишь отдельные из этих сочетаний могут утрачивать союз *хоть*.

И. С. КОЗЫРЕВ,
доцент Орловского педагогического института



Ковыль

Из двух почти совпадающих по звучанию слов *ковыль* и *ковыл* первое — общеупотребительное, литературное, а второе — диалектное, территориально ограниченное. В семнадцатитомном академическом «Словаре современного русского литературного языка» *ковыль* отмечено в значении 'травянистое растение из семейства злаковых с узкими листьями'. Аналогичное толкование слову дается в «Сельскохозяйственной энциклопедии». Основная территория распространения этого растения — юг России, Центральная Азия, юго-запад и юг Сибири.

В литературном языке широко употребительно производное прилагательное *ковыльный*, например, у С. Есенина:

О, сторона ковыльной пуши,
Ты сердцу ревностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

В древнейших памятниках письменности *ковыль* — *ковыл* также отмечается. В «Задонщине» читаем: «Не што гораздо упилися у быстрого Дону на полѣ Куликовѣ, на травѣ ковыль?». В «Слове о полку Игореве»: «Яро-

славна рано плачет въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: О вѣтрѣ, вѣтрило!.. Чему, господине, мое веселие по ковылю развѣя?». Употреблено это слово и в «Повести о разорении Рязани» (XIV в., список XVI в.).

Как варианты одного и того же слова с одинаковым значением, *ковыл* и *ковыль* отмечены в «Донском словаре» А. В. Миртова, в публикациях диалектного материала: Е. Ф. Будде «О говорах Тульской и Орловской губерний» (М., 1907) и Б. А. Моисеев «Словарный состав говора села Саратовки Сонь-Илазского района Чкаловской области» (М., 1956).

Однако в куршинско-мещерских говорах Рязанской области слово *ковыл* (в произношении *кавыл*) встречается в двух значениях, отличных от значения *ковыль*:

1. 'Жесткая, мелкая, почти высохшая на корню трава по суходолу; белоус.' «Фсе днй кавыл дярут (косят) ны Зарѣцынай».

2. 'Сено, плохо поедаемое животными': «Ис сѣна адын кавыл асталси». Здесь же употребляется слово *ковылок* — уменьшительно-ласкательное к *ковыл*: «Кывылок скатина ни пыадят» (записи автора).

Происхождение слова *ковыль* и *ковыл* до сих пор остается невыясненным. В. Даль, основываясь, вероятно, на данных народной этимологии, производит их от *ковылять*, *вилять* 'колыхаться'. Именно с этим значением непосредственно связано в русских говорах слово *ковылина* 'пук травы или мочало, привязываемые к концу хвоста бумажного змея' (Опыт областного великорусского словаря. 1852).

Однако связь слов *ковылять* и *ковыль* (трава) вряд ли может считаться достоверной, и в этом сомневался А. Г. Преображенский. Исконно русский глагол *ковылять*, по мнению некоторых этимологов, представляет собой приставочное образование от *вилять* в значении 'двигать, колебать, качаться, шататься' с приставкой *ко-*. В свою очередь *вилять* — от *вилый*, 'извилистый, кривой'.

Существует мнение, что появление звуко сочетания *вы* (вместо *ви*) в *ковылять* вызвано влиянием слова *ковыль* (см.: Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка). По-видимому, это не совсем так. Если учитывать фонетический облик слова *ковылять* (произносится примерно как *кывылять*), можно предположить, что сочетание *вы* возникло в нем под влиянием соседнего слога с твердым согласным *к*.

Что же касается диалектного слова *ковыл* 'трава, сено', как и общеупотребительного литературного *ковыль*, то это скорее всего заимствование из тюркских языков. Ср. турецкое *ковылык* 'гладко выщелушенный, то есть очищенный от листьев', *ковалик* 'род тростника'. О том, что это слово — возможный тюркизм, писали тюркологи К. Менгес и О. Прицак. В частности К. Менгес в книге «Восточные элементы в лексике „Слова о полку Игореве“» (Нью-Йорк, 1951) приводит несколько различных тюркских корней, возможно, послуживших источником слова *ковыль*, в том числе тюркские: *qomugaj* 'растение с полным стеблем', *qavla* 'безлистный', *qavut* 'очищенные прутья ивы'. Точка зрения Менгеса близка к истине. Заметим, что древнерусская форма с гласным *о* в первом слоге *ковыль* закономерно могла возникнуть из тюркской формы с гласным *а*, который был так называемым лабиализованным (близким к *о*).

Однако окончательное решение вопроса о происхождении русского слова *ковыль* Менгес откладывает до того времени, пока не появится дополнительный словарный материал, свидетельствующий о том, что в тюркских языках есть производные от тех же корней, обозначающие определенные растения. Мещерское *ковыл* до нашего времени сохранилось в форме, наиболее близкой и по звучанию и по значению к тюркскому источнику. По нашим наблюдениям, *ковыль* (кабыл) встречается и в близлежащих говорах касимовских татар.

Основными путями проникновения тюркизмов в русский язык, как отмечают исследователи, были экономические и культурные контакты с ближайшими к русским тюркскими народами: печенегами, булгарами, хазарами, племенами и народами Поволжья. Мещерский край, в говоры которого неоднократно проникали тюркизмы, на протяжении всей памятной истории никогда не имел политической самостоятельности и территориальной целостности. Если северная его оконечность рано была поделена между Муромским, Владимирским, позднее Московским княжествами, то южная часть, так называемая Мещерская сторона, принадлежала княжеству Рязанскому. Восточная область, именуемая Мещерой, еще в конце XIII века была захвачена ширинским князем Бахметом Усейновичем. Через столетие она также отошла к Московскому государству, а в

середине XV века Мещера, находясь в руках татарского царевича Касыйма, образует вассальное Касимовское царство, просуществовавшее в составе Московского государства до конца XVII века. К этому надо добавить, что во время татарского нашествия мещерские леса не раз служили прибежищем для населения соседних, более южных областей. Эти исторические события способствовали появлению тюркских элементов в мещерско-рязанских говорах.

В. Т. ВАНЮШЕЧКИН
Елец

Нередицкая церковь — всемирно известный памятник новгородской архитектуры и фресковой живописи конца XII века.

Обращает на себе внимание лексико-грамматическая неустойчивость ее названия. Первое противоречие заложено уже в Новгородской хартийной летописи: под 1198 годом здесь отмечена закладка храма «святого Спаса Преображения Новегороде на горе, а прозвище Нередице», а в 1219 году храм называется уже «Спасом в Нередицах» — с предложным управлением, выражающим пространственное отношение, применимое скорее к долине, чем к горе. Кстати, само название местности, по-видимому, финского происхождения (от широко распространенного в финской топонимике пого 'ложбина, низменность'). Второе противоречие возникло из-за употребления топонима то в единственном, то во множественном числе. В итоге создалось не совсем обычное положение, когда один и тот же объект именуется в современной научной литературе различно: Спас в Нередицах, Спас на Нередице, Спас-Нередицы, Спас-Нередица, а когда эти названия кажутся слишком длинными, то просто Нередица.



Наиболее точной исторически обоснованной формы, принятой известным историком, профессором А. Н. Насоновым в комментариях к академическому изданию Новгородской первой летописи (М. — Л., 1950) — «церковь Спаса Преображения в Нередицах под Новгородом», не придерживается никто. В частности, в последнем путеводителе по памятникам древнего Новгорода (М. К. Каргер. Новгород Великий Л. — М., 1966) указано, что Спас-Нередица — название просторечное; тем не менее автор этой книги, написанной на безукоризненном литературном языке, пользуется именно им. Следуя тому же грамматическому образцу, нужно было бы допустить: Благовещение-Городище, Никола-Дворище, Спас-Ковалево и т. п. Как согласовывать со Спас-Нередицей (или Спасом-Нередицей) родовое окончание прилагательного — неясно. «Нередицкая аномалия» распространяется и на произношение; в среде интеллигенции крупных культурных центров Нередица употребляется с ударением на втором слоге, но у коренных новгородцев его иногда можно услышать на первом или третьем слоге: Нэредица и Нереди́ца. Такие варианты ударения автору этих строк приходилось слышать в 1966 году в речи крестьян Городища под Новгородом.

Увлечение сокращенными просторечными формами привело к неправильному пониманию самой идеи наименования храма, что особенно ясно проявилось в переводах на иностранные языки. В зарубежной литературе по искусству и в работах советских авторов, опубликованных на иностранных языках, принято название «Eglise du Sauveur à Neredicy, Erlöserkirche Nereditza», буквально: нередицкая церковь Спасителя. Но ведь она посвящена определенному событию евангельской истории — «Преображению», и правильным переводом будет «Eglise de la Transfiguration à Neredicy, Verklärungskirche am Hügel Nereditza bei Nowgorod».

В русском литературном языке следовало бы придерживаться наименования «церковь Спаса Преображения в Нередицах», а там, где требуется предельная краткость, — отдавать предпочтение названию «Спас в Нередицах». В отношении прилагательных вполне возможно ограничиться формой *нередицкий*, поскольку в Нередицах был только один храм и это определение однозначно.

М. Ф. МУРЬЯНОВ
Ленинград



Названия обуви в древнерусском языке

Историки материальной культуры указывают, что обувь восточных славян, по крайней мере сельского населения, делалась обычно из лыка. Правда, само название такой обуви *лапотъ* не отмечено в наших древних письменных памятниках. Но, вне всякого сомнения, оно существовало в языке. Об этом свидетельствует производное существительное *лапотникъ*: «ре(ѣ) Добрына Володимеру. съглядахъ колодникъ. оже суть вси в сапозѣхъ симъ д(а)ни намъ не даяти. поидемъ искать лапотниковъ» (Лаврентьевская летопись. 1377).

Не менее распространенной, особенно среди городского населения, была кожаная обувь — в первую очередь сапоги, которые в приведенном примере из летописи противопоставляются лаптям. Как показали археологические изыскания А. В. Арциховского, в древнем Новгороде остатки кожаной обуви принадлежат к самым частым находкам: при множестве найденных фрагментов кожаной обуви следы лаптей были обнаружены только один раз. В памятниках письменности слово *сапогъ* встречается неоднократно: сапоги костини (берестяная грамота № 141 из слоя XIII в.); босия сапогы съметаѣше поскочиша (Новгородская I летопись. XIII—XIV вв.). Относительно происхождения слова *сапогъ* имеются различные мнения, разбор которых можно найти в монографии финского языковеда И. Вахроса «Наименования обуви в русском языке» (Хельсинки, 1959) и в статье А. С. Львова об этом слове («Этимологические исследования по русскому языку». Вып. IV. М., 1963).

Если мы предполагаем, что в оригинальных русских произведениях слово *сапогъ* обозначало вид кожаной обуви с высоким голенищем, то несколько иное значение было в переводных тек-

стах — в евангельской цитате: «нѣсмъ достоинъ разръшити ремень сапогу его» (Чудовской сборник. XIV в.). Здесь слово *сапогъ* имеет, по-видимому, значение 'обувь с завязками, ремнями'. Дело в том, что *сапогъ* в переводных текстах служит для передачи греческого *hypodēma, atos*, которое уже в древнегреческий период обозначало и сандалий, и башмак, и сапог, то есть разную обувь: «поясы жваху и сапогы и кожь щитные ядыху въздирающе» — *hypodēmata* (Хроника Георгия Амартола. XIII—XIV вв.).

В Древней Руси была известна также и кожаная обувь типа башмаков — *прабошньи*, черевье: «егда же приспѣяше зима. и мрази лютии, станяше в *прабошния(х)* в *черевья(х)* в *протоптань(х)*» (Лаврентьевская летопись). В более поздних списках «Повести временных лет» вместо слова *прабошньи* находим слово *богъ*. Существительное *прабошньи* с трудом поддается этимологизации, но все же большинство исследователей считают, что его следует производить от корня *бос-*. Что касается другого названия башмаков — *черевье*, то это слово обозначало обувь, которая делалась из мягкой кожи с брюха животного, и связано оно по происхождению со словом, обозначавшим брюхо, чрево (ср.: черевички).

В переводных памятниках встретилось слово *плесньць* (плесньце), также обозначавшее башмак (от **plesna* 'часть ступни между пяткой и пальцами'): «и плесньци тѣхъ глубоци же и высоки пяты имуща» (Устав Студийский. XII—XIII вв.).

Но самым распространенным в языке переводных памятников названием башмака, обозначавшим в основном монашескую обувь, было слово *калига*: «в видѣвъ же и егюптянинъ... възглавицю малу имяше. и нозѣ чистѣ въ калигахъ» (Лобковский пролог. XIII в.); «Имѣх бо. и постелицю худу и не теплу но и то зимно. и не велико но мало сапог же и калигъ» (Огласительное поучение Феодора Студита. XIV в.). Это заимствованное слово восходит к латинскому *caliga*, а в наших текстах оно передает среднегреческое *kaliga* и *kalika*.

Интересна дальнейшая история этого слова в славянских языках. В чешском за ним закрепилось значение не 'вид обуви', а 'вид одежды, брюки' (*kalhoty*). Позднее, уже в наше время, оно было вновь заимствовано современным русским языком: колготы — 'вид женской или детской трикотажной одежды для нижней части тела и ног, включая ступни'.

Только в переводных памятниках XI—XIV веков употреблялось существительное *сандалии* (от греческого *sandalion*), обозначавшее особый вид обуви — подошву, привязываемую к ступне ремешками: «аще его бѣды постигнуть ити въ страну. да наложить сандалия. аще ли есть въ клѣти свои да не носить ихъ».

(Синайский патерик. XI в.). Сандалии в древности были непременным атрибутом монашеского облачения. Именно эта обувь, кстати сказать, символизировавшая монашескую кротость, выдавалась в древности монахам при пострижении — обычай, заимствованный у византийских церковников и постепенно утратившийся из-за сурового русского климата. В русском быту слово *сандалия* как название летней кожаной обуви вновь появляется в относительно недавнее время.

В роли общего термина в языке ранних памятников письменности, как и в наше время, употреблялось слово *обувь* (от глагола *обути*): «въ чресла препоясани въ обувъ обьвени» (Сочинения Григория Богослова. XIV в.). В ряде случаев оно синонимично слову *сапогъ*, которое, как отмечено выше, иногда употреблялось в значении родового термина: «бращна липени быша. и нитья. и сластии. и ризъ тонкихъ. и обуви добрыя» (Огласительное поучение Феодора Студита).

В том же памятнике встретилось синонимическое образование *обуевье*. В тексте начала XV века отмечено слово того же корня *обуца*: «изуи обуцю ногу твою» (Палея. 1406). Более поздний список Палея дает в том же контексте вариант *онуци*. Значит, существительное *онуца* (собственно русский вариант *онуча*) также имело общее значение обуви «босаго есть онуча яже у тебе изгниваетъ» (Пандекты Никона Черногорца. 1296). Но и характерное для русского литературного языка и народных говоров значение этого слова «онуча, отрезок ткани для обертывания ноги» также было свойственно языку памятников древнерусской письменности: «и на онучь растерганъ будещи» (Новгородская кормчая. 1282).

В упомянутой книге И. Вахроса предполагается, что слово *онуча* или *онуца* (из * *onutja*) первоначально означало примитивную обувь, которой обертывали ногу. Затем появилась верхняя обувь — *обуца* (из * *obutja*), которую обували поверх онучи. В работах последних лет слово *онуча* связывается с глаголом *нутить* «окручивать» (см.: В. В. Колесов. — «Этимологические исследования по русскому языку». Вып. V. М., 1966).

Подводя итог, можно сказать, что группа названий обуви, употребляемых в ранних древнерусских памятниках письменности, состоит в основном из исконно славянских слов *обувь*, *онуча*, *плесньць*, *прабошьнь*, *черевье*, [*лапотъ*], а также, возможно, и *сапогъ* (правда, со спорной этимологией). К числу грецизмов, попавших в русский язык очень давно, относятся лишь два слова — *калига* и *сандалии*.

Г. Н. ЛУКИНА

ВОЛГА



Волга, Кама, Северная и Западная Двина, Дон, Ока, Онега, Пинега... Да мало ли величественных и полноводных рек течет по русской земле! И кому не известны их имена?.. Но что они значат? Откуда происходят? Какому древнему народу принадлежат?

Трудно ответить на эти вопросы... И далеко не всегда можно найти однозначный ответ.

Наш рассказ о происхождении названий важнейших русских рек начнем с Волги — матери русских рек и Камы — ее младшей сестры.

О РОДИНЕ

В любой чаще
лишних нет деревьев,
и если даже вырубить кусты,
то и тогда леса лишатся древней,
естественной и дивной красоты.
Как согревает чье-нибудь участие,
когда лихой беды наступит срок,
так человек
тогда бывает счастлив,
когда он на земле не одинок.
Хватает Волге широты и сини,
но с Камою она еще синей.
И для меня бы
не было России
без маленькой Удмуртии моей.

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВ

*Перевел с удмуртского
Владимир Савельев*

Немногим речным названиям на ниве этимологии повезло так, как наименованию Волги. Его возводили даже к названию птицы иволга (мнение чешского языковеда В. Махека), что, по крайней мере, странно. Во всяком случае, автор этих строк, многие годы собирая топонимиче-

ский материал у местного населения, ни разу не встречал географические названия, образованные от слова *иволга*: слишком мало значит эта птица для человека... Не лучше и версия о принадлежности названия Волга к дофинским названиям на *-га* типа Андога, Мудьюга, Онега, Сойга и т. п. (В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь). Оказалось, что обозначение реки («речной суффикс») заключено в окончаниях *-ега*, *-ога*, *-юга* и т. п. и что никакого речного термина *га* не существует ни в виде окончания *-га*, ни в самостоятельном употреблении. Только тогда окончание *-га* может быть частью речного названия, когда оно возникло на русской почве из *-ега*, *-ога*, *-юга* и им подобных, как в слове Сойга, которое получилось из первоначального Союга, отмеченного в памятниках. Неудачна и попытка финского языковеда Й. Микколы связать название Волги с мари́йским названием этой реки Юл (древнемари́йское * *Jylŷ*). Такое фонетическое преобразование представить трудно.

Остановимся теперь на двух наиболее обоснованных версиях происхождения слова Волга.

Очень распространен взгляд, что слово Волга восходит к прибалтийско-финским источникам и означает 'белая (река)': ср. финское *valkea*, эстонское *valge* 'белый'. Об этом писали А. Л. Погодин, Я. Розвадовский и другие исследователи (см.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). В последнее время к ним присоединился И. С. Улуханов, считающий название Волга поздним, заимствованным из финно-угорских языков уже после того, как в русском языке перестал действовать фонетический закон полногласия (поэтому не Волога) и финское *a* передавалось русским *o* (**valg* изменилось в Волг-а) (сб. «Вопросы географии». М., 1966, № 70). Если вспомнить о знаменитом Белом озере в бассейне Шексны — Волги и о реке Белой в бассейне Камы, то эта этимология, как будто, вполне убедительна.

И тем не менее предполагаемая связь слова Волга с финским *valkea*, эстонским *valge* вызывает сомнения. В самом деле, почему в названии реки Норовы или Наровы (из эстонского *Narva*, ср. современное русское слово Нарва), многократно засвидетельствованном, например, в «Псковских летописях», или небольшой речки Вологды (из вепсского *vâüged* 'белый' < **valgeda*) отразилось полногласие, а в наименовании крупнейшей водной артерии Восточной Европы, несомненно известном русскому населе-

нию издревле, его нет? А кто доказал, что это позднее название? Кто установил, что раньше русские называли Волгу как-то иначе? В это трудно поверить. Вот почему более убедительным кажется другой путь объяснения.

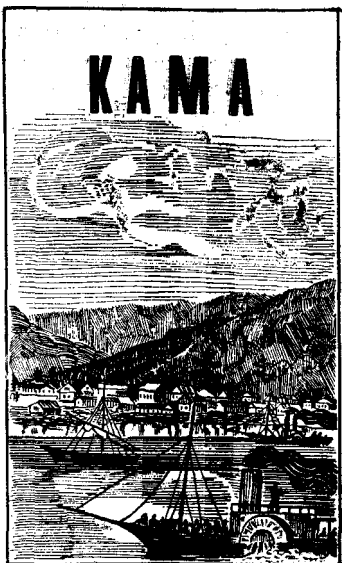
Слова Волга и Кама звучат совсем по-разному, но могут иметь одно и то же исходное значение — ‘река’ или ‘большая река’. Вообще этот способ наименования хорошо известен: названия больших рек часто означают просто ‘река’ или ‘большая река’; именно таково и происхождение названий рек Дон, Юг и некоторых других. Вопрос в том, справедливо ли это правило в нашем случае.

Обратимся к названиям Волги у разных народов. Древнегреческое *Ῥα* и мордовское *Рав* давно возводят к индоиранскому обозначению священной реки (авестийское *Raṇha*, древнеиндийское *Rasā* или древнеиндийское *sgavā* ‘течение’), которое в финно-угорской переработке должно было превратиться в **gava*, так как для финно-угорских языков нехарактерны начальные группы согласных. Тюркское название Волги — чувашское *Атӑл*, татарское *Идел* — означает просто ‘река’, марийское *Юл* имеет точное соответствие в уйгурском и качинском *юл* ‘ручей’, хакасском *чул* ‘река’.

Словом, все говорит о том, что народы Поволжья называли Волгу просто ‘Река’, не заимствуя, а переводя название, восходящее к какому-то древнему (индоиранскому?) первоисточнику.

Таким образом, можно предположить, что и слово Волга (**volga*) в каком-то языке имело значение ‘река’ или ‘вода’. Косвенно на это указывает тот интересный факт, что татарскому названию реки Белой, крупнейшего притока Камы (Ак-идел > Агыйдел, буквально ‘белая река’), в «Книге Большому Чертежу» (XVII в.) соответствует Белая Воложка. Но вот дальше мнения исследователей расходятся. А. И. Соболевский и М. Фасмер считают, что слово Волга (из **Volga*) восходит к праславянскому источнику (корень тот же, что и в слове *влага*) и аналогично чешскому названию реки *Vlha* (приток Лабы) и польскому *Wilga* (приток Вислы). По мнению Ф. И. Гордеева, это слово связано происхождением с балтийскими языками (латышское *valka* ‘текущий ручей’, литовское *valka* ‘лужа’) (сб. «Ономастика Поволжья». Ульяновск, 1969). Конечно, название столь значительной реки могло сохраниться и со времени балто-славянской языковой общности.

Название Камы тоже терминологично. Подобные наименования в разной огласовке очень широко распространены на русском Севере (Кема, Кыма, Кьяма, Кяма), в Карелии (Кемь) и Финляндии (Кемі, Кумі, причем известно и нарицательное кумі 'река, поток'). Кроме самой Камы, притока Волги (удмуртское Кам), известна также река Кама в бассейне Тавды в Зауралье и река Кама в бассейне Конды в Западной Сибири (в некоторых удмуртских говорах *кам* тоже означает 'река, течение'). Дальше на восток идут Кем, Хем (бассейн Енисея) и многочисленные тувинские реки на *-хем* (Бий-Хем, Улуг-Хем), причем в тувинском языке *хем* опять-таки имеет значение 'река'.



Таким образом, древние речные названия с основами Кем-, Кям-, Кам-, Кым- в свою очередь обозначают реку вообще. Каково же их происхождение? А. П. Дульзон (сб. «Топонимика Востока». М., 1964), хотя и не без сомнения, считает такие названия индоевропейскими: ср. *Kembach* в немецких речных названиях, *Sam* — в английских. А. И. Соболевский сравнивал название реки Кемь с древнеиндийским *kam* 'вода' («Известия ОРЯС АН СССР», т. XXXII, 1927).

Происхождение названия Камы со своей стороны подтверждает обоснованность такого же пути этимологизации названия Волги: Ра, Рав, Идел, Юл, Кама, Волга — 'река'.

Доктор филологических наук
А. К. МАТВЕЕВ
Свердловск

В следующих номерах журнала
мы продолжим рассказ о происхождении названий
русских рек

НАРОДНЫЕ



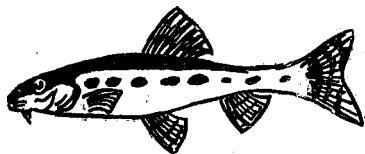
НАЗВАНИЯ РЫБ

(Продолжение)

Карп (*Syrpinus carpio*). **Бобёр** Ворон. **Горбыль** (мелк. до 18 см) Астрах.; Аральское м. **Зеркальный карп** Ворон. **Карпия** Орл.: Ока; Пенз. **Карпюша** Орл.: рр. Сосна, Любовиша, Кривец. **Карыш** Псковско-Чудское оз. **Корон** Смол.: рр. Сож, Ипутъ, Остёр; Брян.; Кур.: р. Сейм; нижн. теч. Дуная, нижн. теч. Волги; КиргССР: р. Талас, **Ланьш** Аральское м. **Ланьш** (мелк.) Аральское м., нижн. теч. Волги. **Лопушок** нижн. теч. Волги, вост. Прикаспий. **Подрёк**, **подрёк** юг европ. части РСФСР. **Подройчик** (молодь) нижн. теч. Волги. **Простой карп** Ворон. **Сазан** не севернее Белого оз., преимущественно Поволжье и к востоку от Волги. **Сазон** Пск. **Сулятник** (крупн.) Дон, Азовское м. **Таранник** Дон. **Чаклик**. **Чертан**, **чертаника**, **чертокарп** нижн. теч. Дуная. **Чурбак** Дон. **Шаран** нижн. теч. Дуная, Кубань. **Шаранец** юг европ. части РСФСР.

Пескарь (*Gobio gobio*). **Бабка** Кама. **Бараус** Волхов. **Бигюр** Сибирь: р. Томь. **Вандыш** верхн. теч. Камы, Печора. **Веретеница** Смол. **Голзак** Яросл. **Гулень** южн.

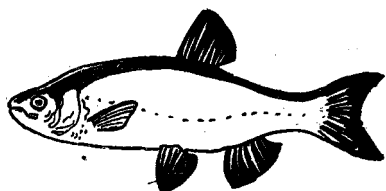
часть Онежского оз. **Жирик** Смол. **Заусай** верхн. теч. Камы, Печора. **Кобель**, **кобл**, **коблик**, **кобль**, **кобля**, **коблень**, **кобль** юг европ. части РСФСР. **Конёк** Ильмень, Волхов. **Крымпа** р. Нарова. **Курмелёк**, **курмелё** Пск. **Кыч** Арх.: р. Пинега. **Лежень** Псковско-Чудское оз.; Новг.: р. Сясь. **Лох** ТатАССР: р. Сура. **Лошок** ТатАССР: р. Свияга. **Мескосон** Урал: рр. Тавда, Сосьва, Лозьва, Тура, Исеть. **Мулятка**, **мулятка** Новг. **Нескозобб** Обь, Иртыш. **Паршак**, **паршак** Ильмень, Волхов. **Пескан** Кир.: р. Летка; Волог.; Урал. **Пескарь-синёц** Ока; Колосна. **Пескарь-черныш** Моск. **Пескозобб** Ленингр.: р. Свирь; Белое оз.; Пск.; Смол.; Ильмень, Волхов; Волга, Иртыш, Енисей, Байкал. **Пескозобчик**, **пескозобчик** Урал, верхн. теч. Енисей. **Пескозуб** Дон. **Пескозубчик** Волга; Урал. **Пескун** Новг.: оз. Уклеино, Валдайское. **Пескунчик** Урал; р. Колыма. **Пескыш** Кир.: р. Летка. **Песгун** Арх.: р. Мезень. **Песун** Псковско-Чудское оз. **Песун** Пск. **Пест** Арх.: рр. Мезень, Пинега. **Песучок** Пск. **Песчаник** Волга,



Кама; Челяб. **Песьюк** Псковско-Чудское оз. **Пикарь** Перм. **Пискан** Урал. **Пискыйж** Смол. **Пискозоб** Владим. **Пискун**, **пискунбк**, **пискунчик** Урал. **Пискушок** Пск., Калинин. **Поганка** Урал: р. Уфа. **Сёрый слёц** Горьк.: р. Ветлуга. **Скобчик** Измаил. **Скозоб**, **скозобчик** Пенз.: р. Мокша. **Старица** Ока. **Столбёц**, **столбчик** юг европ. части РСФСР. **Холзак** Яросл. **Широколобка** Урал: р. Уфа. **Яскозоб** Обь, Иртыш.

Голавль (*Leuciscus cephalus*). **Голавль** Пенз. **Голваль** Оренб. **Голв** Костр.; Урал: рр. Ка-

ма, Язьва, Чусовая, Белая, Уфа, Сылта. *Головѣн* Ильмень, Волхов. *Головѣн* Урал. *Головѣч* Новг.: р. Сясь; Волга; Урал.: рр. Кама, Язьва, Чусовая, Белая, Уфа, Сылта. *Головѣль* вся Волга, Ильмень, Волхов; Пск.: южные районы; Кур.: р. Сейм; Урал.: рр. Кама, Язьва, Чусовая, Белая, Уфа, Сылта. *Головѣнь* Ильмень, Волхов; Пск.: южные районы; вся Волга; Горьк.: р. Теша, Дон; Урал.: рр. Кама, Язьва, Чусовая, Белая, Уфа, Сылта; Оренб. *Головѣз*, *головѣж* Урал.: рр. Кама, Язьва, Чусовая, Белая, Уфа, Сылта. *Головѣль* Кир.: р. Летка, Белое оз., Ильмень, Волхов; Волга; Урал.: рр. Кама, Язьва, Чусовая, Белая, Уфа, Сылта. *Головѣль* Саратов. *Головѣн* р. Терек. *Головѣ* р. Шексна; ТатАССР: р. Сура; Урал.: рр. Кама, Язьва, Чусовая, Белая.



Уфа, Сылта. *Головѣль* Пск. *Головѣль* Новг. *Клен*, *кленъ* Днепр. *Кутѣм* нижн. теч. Волги. *Мирѣн* Новг.; Пск. *Облячѣк* Волхов. *Оголѣв* нижн. теч. Волги. *Турбѣк* Ленингр.: р. Луга. *Ясень* нижн. теч. Волги.

Язь (*Leuciscus idus*). *Арѣн* Урал: Чусовая. *Белѣзень*, *белѣзня*, *белѣзь*, *белѣзна*, *белясь* Дон. *Вяз* нижн. теч. Дуная. *Езь* Белое м., Лена. *Желтомѣска* нижн. теч. Дуная. *Карп* Ленингр. *Кутѣм*, *кутѣн* Азовское м. *Лазмѣк* Дон. *Масленник* Урал.: рр. Вишера, Колва.

Мендрѣга Пск. *Мерѣн* Пск.; Калинин.: Осташков. *Моклѣц* Горьк.: рр. Ока, Ворсма. *Молевѣц* Ока. *Морѣк* Ильмень, Волхов. *Недойзѣк* (мелк.) Урал.: р. Нытва; Челяб. *Подѣязик*, *подѣязѣк*, *подѣязь* (мелк.) повсеместно в европ. части РСФСР, в Сибири, на Оби, Енисее. *Соровѣя* рыба Байкал. *Сорѣга* (молодь) Сибирь. *Турѣжа* КАССР. *Чебѣк* Ильмень, Волхов; средн. теч. Десны; Волга; ТатАССР: рр. Цывилъ, Аниш, Свияга, Рутка, Большая Кокшага, Малая Кокшага, оз. Таир, рр. Казанка, Меша, Ахтай, Шешма; Обь, Иртыш. *Язень* Горьк.: р. Ветлуга.

Елѣц (*Leuciscus leuciscus*). *Бѣлый елѣц* Горьк.: р. Ветлуга. *Белѣк* Кур: Льгов. *Калѣнка* Ворон. *Кѣрмус* рр. Волхов, Свирь. *Кленѣк*, *кленъ* Орл.: Ока. *Клин* Горьк.: р. Теша. *Кѣрба*, *кѣрбица*, *кѣрбук*, *кѣрбукс*, *кѣрбукса*, *кѣрбус*, *кѣрбуса*, *кѣрбусик*, *кѣрбусина*, *кѣрбуск*, *кѣрбусок*, *кѣрбушка* оз. Онежское, Ладожское, рр. Свирь, Волхов. *Кѣрмус* Онежское оз. *Кѣрпус* Ильмень, Волхов. *Кутѣмѣ* ТатАССР: р. Меша. *Мирѣн* Псковско-Чудское оз. *Моклѣн* ТатАССР: р. Сура. *Моклѣц* Пенз.: рр. Мокша, Инсара. *Овѣянка* Сибирь: р. Томь. *Песѣчник* Пенз.: р. Сура. *Салѣга* Онежское оз. *Сорѣга* Сибирь: рр. Тура, Колыма. *Сортѣк* Псковско-Чудское оз. *Хѣриус* Ленингр.: р. Оредеж. *Чебѣк* Енисей, Колыма.

В Сибири чаще. подвид — *Сибирский елѣц* (*Leuciscus leuciscus baicalensis*). *Бѣзбик*, *мегдѣм* нижн. теч. Иртыша. *Мегдѣмѣ* Обь, Тобол. *Сорѣга* Зап. Сибирь. *Столбѣц* Байкал. *Чебѣк* Обь, Иртыш, Тобол.

(Продолжение в следующем номере)

Почта „Русской речи“



Рисунки В. Лукашова

Три Переяславля

А. И. Кечеджи (Рязанская область) спрашивает, почему в одних случаях пишется Переяславль, в других — Переславль и даже Переяслав?

В летописи под 993 годом сообщено предание о возникновении города Переяславля на Трубеже, в левобережье Днепра. Согласно этому известию, великий князь Киевский Владимир Святославич, одержав победу над печенегами, которой много способствовал один русский отрок, «радъ бывъ, заложи городъ... и нарече и [его] Переяславль, зане [потому что] перея славу отроко ть [тот]». Это предание — поэтический вымысел, так как Переяславль на Трубеже, левом притоке Днепра, существовал уже ранее, — он упоминается в договорах Руси с Византией 907 и 945 годов, — вместе с Киевом, Черниговом и другими важнейшими русскими городами того времени.

В действительности Переяславль — правильная притяжательная форма от древнеславянского личного имени Переяслав, подобно другим наименованиям городов: Ярославль (город Ярослав), Мстиславль (город Мстислава) и т. п. Позже название Переяславль было дано еще двум городам, возникшим в Северо-Восточной Руси в XII веке; это построенный Юрием Долгоруким Переяславль Залесский — в Ростово-Суздальской земле, и Переяславль Рязанский (ныне Рязань). При этом было перенесено в том и другом случае и название небольшой речки Трубеж, на которой стоит южный Переяславль, так что все три города оказались на одноименных речках. После основания двух новых городов с тем же названием старейший из них в источниках стал именоваться Переяславлем Русским, для отличия от северных.

Что касается произношения и написания названия Переяславль, то оно с течением времени претерпело изменения: южный Переяславль (Русский) стал по-украински называться Переяслав; теперь это Переяслав-Хмельницкий (в честь знаменитого украинского гетмана); Переяславль Рязанский превратился просто в Рязань; что касается Переяславля Залесского, то он давно уже во многих источниках именуется Переславль.

В подобных упрощениях нет ничего удивительного; достаточно сказать, что со временем древнее название города Ростиславль упростилось в Рославль (оно произошло от древнерусского княжеского имени Ростислав). Сохранения во всех подробностях древнего начертания и произношения ожидать здесь трудно: живой язык по мере возможности стремится к удобству и упрощению. Поэтому вопрос о правильности и точности современного написания собственных имен зависит в значительной мере от создавшейся в том или другом случае письменной традиции, а иногда, в некоторых допустимых пределах, и от желания пишущих об этом предмете лиц. Разумеется, явные искажения в названиях городов не могут быть допущены; однако небольшие видоизменения древних форм не вызывают и особых возражений, поскольку из-за таких вариантов не может возникнуть никаких недоразумений.

Конечно, установление полного единообразия в написании всех наименований географических объектов представляется желательным; тем не менее в отдельных случаях, очень редких, существуют незначительные различия типа Переяславль — Переславль и т. п., обычно остающиеся незамеченными и только у отдельных лиц вызывающие желание выяснить наиболее приемлемую форму. Вообще говоря, для имен собственных, в том числе и для названий городов, не существует абсолютных орфографических правил, во всех случаях обязательных и непреложных, так как каждое такое название является в сущности обособленной единицей, даже если оно и предстает перед нами в тройном виде, как это имеет место в случае Переяславля.

Поэтому можно сказать, что правильная форма здесь та, которая окончательно будет выбрана в каждом отдельном случае. На Украине эта форма соответствует живому произношению украинского языка, для северного Переяславля лучше было бы оставить древнейшую форму, так как это город-музей, а вариант Переславль, хотя и встречается в старых источниках, все же более молодой.

А. И. Попов

Оселок Ключ

Н. Пудовкин из Алма-Аты спрашивает о происхождении слова *оселок*, а также о слове *ключ*. «Включить» значит 'прибавить', *исключить* — 'отнять', — пишет он. — Какую роль играет корень *ключ*, если слово имеет значение 'прибор' и 'родник'?

В современном русском языке *оселком* называется самый тонкий брусок, на нем не столько точат, сколько правят, чтобы сделать лезвие особенно тонким.

В старославянском и древнерусском языках употреблялось слово *осла*, существительное женского рода: «Една осла рѣжду [ржавчину] желѣзную оцѣтитъ» (Супрасльская рукопись); «Осла, сама не рѣжючи, оружие остритъ» (Пчела, конец XIV в.); «Остримъ по ослѣ» (Палей. XIV в.); «Акы ослою гладкими словесы вся скверны очищая телесныя и душевныя» (Златоструй. XII в.).

Этимологи считают слово *осла* образованием от той же основы, что и *острый*, подкрепляя эту мысль сравнением с *оскъ* 'острый конец трости, посоха', *ось*.

В некоторых славянских языках слово *осла* сохранилось до настоящего времени, например в украинском. В других языках употребляется образование с суффиксом *-к(а)* — *оселка*, в частности в польском. Образование с суффиксом *-ок* собственно русское.

В этимологических словарях *ключ* в значении 'ключ (к замку)' и *ключ* 'источник, родник' даются как омонимы (равнозвучающие слова), хотя Фасмер, например, указывает, что «имеет смысл поставить вопрос об одинаковом происхождении» этих слов (Этимологический словарь русского языка). Однако пока наука не располагает убедительными свидетельствами их родства. В. И. Даль связывает эти слова на основании остроумного заключения, что *ключ-родник* «открывает недра земли». Но такое заключение ничего не проясняет, так как в слове *ключ* и возможных производных от него значения 'открывать' нет (естественно, мы не имеем в виду само назначение дверного ключа отпирать и запирасть дверь — это другое!).

Ключ 'родник' обычно связывают с *клякать* 'шуметь', в сербскохорватском *кључати* 'кипеть, бурлить, хлопать'.

Ключ (у замка) этимологи считают, например, родственным латинскому *clāvus* 'гвоздь', *clāvis* 'ключ', *claudō* 'запираю'. Есть основания связывать это слово с *кляка* 'кривая палка, костыль'. В древнерусском языке, кроме значения 'ключ', это слово означало также 'руль, кормило'; 'багор, каким зацепляли за борт лодки, судна, чтобы подтянуть его'; а также 'запор, засов'. Основой слова *ключ*, по-видимому, в том, что называемый им предмет имел кривизну, изгиб, не был прямым.

Показательно в этом плане развитие переносного значения у этого корня. *Кляка* — 'кривая палка', но также и 'хитрость, обман'; *клякавый* — 'хитрый, лживый'; *ключивый* — 'обманчивый, притворный': «Подобаеть быти дидакалу [учителю] не ключиву, ни мучителю, ни досадителю» (Хроника Георгия Амартола. XIII—XIV вв.). Подобное развитие значений в языке обычно: *лука* — 'излучина, изгиб' и *лукавый* 'хитрый, изворотливый'; или *прямой* (о человеке) значит 'открытый, честный, бесхитростный'.

Итак, *ключ* (сам предмет) был назван *ключом*, вероятно, по форме. Значения 'открывать' и 'закрывать' добавились к первоначальному смыслу позднее по функции, которая утвердилась за этим предметом.

Теперь о глаголах *включить* и *исключить*. Определим их более точно. *Включить* значит 'ввести в состав, ряд, число, присоединить к кому-либо, чему-либо'. *Исключить* значит 'удалить, убрать из состава, ряда, числа, устранить'. Отсюда и *исключительный* 'не соответствующий обычному, принятому'.

В современном русском языке нет бесприставочного глагола с этим корнем, но он был в древнерусском. *Ключити*, *клячати* довольно часто встречается в памятниках с общим значением 'соответствовать, подходить, быть годным, пригодным, удобным'. Приведем несколько примеров: «Поле убо законосиво овьяцямъ всѣмъ ключаемо» (Поле, производящее злаки, овцам всем пригоден) — Иоанн Лествинник. XII в.; «Разныхъ царевъ ризы не ключахуться ему, яко всѣхъ человекъ превелии бѣ высоту» (Одежды разных царей не подходили ему, так как ростом был он выше всех лю-

дей) — Хроника Георгия Амартола; «Ключимо бяше не нагу изыти, но одѣятися» (Приличествует не нагому выйти, а одеться) — Минеи Четьи, июнь.

С этим глаголом, по-видимому, и следует связывать современные *включать*, *исключать*. Что касается слова *ключ*, то одинаковый корень — недостаточное основание для их этимологического сближения. Обязательная в этом случае смысловая связанность на русском материале не прослеживается.

Н. В. Чурмаева

Я — мы



Очень часто в газетных, журнальных статьях, а особенно в научных работах, автор говорит о себе во множественном числе: «Мы сделали вывод...», «На наш взгляд...», «Нам кажется...» и т. п. Правильно ли это? — спрашивает В. Г. Зенков из Магаданской области. И почему В. И. Ленин в своих научных трудах не писал «мы», а только — «я»?

Чтобы ответить на вопрос, правомерна ли такая замена, остановимся коротко на каждом случае употребления *мы* вместо *я*. В авторской речи, например, это особый стилистический прием, которым пользуются издавна. В лингвистической литературе такое *мы* в отличие от обычной формы множественного числа называют «авторским *мы*». Употребление *мы* в качестве синонима к местоимению *я* свидетельствует о скромности автора, о его нежелании выделять себя, выпячивать. Этим *мы* автор как бы уравнивает себя со всеми.

Авторским *мы* широко пользовались писатели XIX века: «Ее сестра звалась Татьяна... Впервые именем таким Страницы нежные романа Мы своевольно освятим» (Пушкин. Евгений Онегин); «Приступая, наконец, к критическому обозрению поэтической деятельности Пушкина, мы почли за нужное повторить сказанное нами в прежних статьях» (Белинский. Сочинения А. Пушкина); «Мы не будем здесь представлять извлечений из фактов и мнений, находящихся в книге г. Анненкова» (Добролюбов. Н. В. Станкевич). Можно привести примеры и более раннего употребления: «По сим всем действиям довольно мы узрены, что таковыми сухими подземными дождями многия тела, поверхность земную украшающая, погребены бывают» (Ломоносов. Слово о рождении металлов от трясения земли).

Как и всякий другой, этот стилистический прием, хорош до тех пор, пока им не злоупотребляют. Если он раскроется с общим тоном изложения, если сам по себе тон нескромен, то никакие стилистические приемы его не спасут. Напротив, употребление *мы*

в таких случаях будет подчеркивать не столько скромность, сколько нечто прямо противоположное ей.

Салтыков-Щедрин, ссылаясь на газетчиков своего времени, не раз иронизировал по поводу употребляемого ими *мы*. Особенно его возмущали выражения: «Как *мы* предвидели», «Как *мы* предупреждали» и т. п. Пустота и бессодержательность статей, прикрытая подобного рода фразами, раздражала Салтыкова-Щедрина. Он писал: «Беру первую попавшуюся под руку газету и приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: „Мы не раз говорили“. Конца нет; вместо него „об этом поговорим в другой раз“... Сколько лет я читаю это „поговорим в другой раз!“ Да ну же поговори! — так и хочется крикнуть» (Помпадуры и помпадурши).

В современном русском языке *мы* вместо *я*, как справедливо подмечает автор письма, встречается обычно в научной, реже публицистической речи. Но этот особый стилистический прием свойствен не всякой научной речи, а только ее письменной разновидности. В устных выступлениях, докладах, сообщениях «авторское *мы*», как правило, не употребляется. Но и в письменной речи не каждый, кто пишет научные труды, пользуется им. Существуют разные стилистические приемы для изложения мыслей на бумаге, и разные авторы по-разному их используют. Некоторые предпочитают пользоваться безличными и страдательными оборотами (можно сделать вывод; делается попытка; будет рассмотрено и т. д.), другие широко используют глагол в 1-м лице множественного числа (делаем вывод; попытаемся; рассмотрим и т. д.).

Приемов много и выбор их зависит от индивидуальных особенностей авторов, от их вкусов и наклонностей. И совсем неважно, каким из имеющихся приемов пользуется тот или иной автор, важно то, чтобы эти приемы не бросались в глаза, не были навязчивыми. Тот, кто владеет мастерством изложения, никогда не допустит частого повторения одного и того же приема, тем более частого повторения «авторского *мы*». Умение сочетать различные стилистические приемы и искусно ими пользоваться составляет особое мастерство. Этим мастерством, или, лучше сказать, искусством, в совершенстве владел В. И. Ленин. То, что автор письма не заметил у Ленина «авторского *мы*», говорит о том, насколько умело и тонко пользовался Ленин этим стилистическим приемом. Он употреблял и *я*, и *мы* и делал это иногда в одной и той же работе. Вот пример употребления Лениным «авторского *мы*» в его книге «Материализм и эмпириокритицизм»: «Мы нарочно выписали полностью это опровержение материализма Авенариусом, чтобы читатель мог видеть, какими поистине жалкими софизмами оперирует „новейшая“ эмпириокритическая философия» (Полное собрание сочинений. Т. 18, стр. 45).

Но стилистические возможности употребления местоимения *мы* вместо *я* приведенными примерами не исчерпываются. Оно могло быть использовано и в обычной разговорной речи. Чаще всего делалось в тех случаях, когда говорящий хотел подчеркнуть значительность своей личности, противопоставить себя кому-либо: «— Ты хлонец может быть не трус. Да глуп, а мы видали виды» (Пушкин. Гусар); «[Бальзаминов:] ...Меня тогда и рукой не достанешь. Мы себя покажем» (А. Островский. Свои собаки грызутся, чужая не приставай).

Несколько иной характер носило использование местоимения *мы* в мещанско-крестьянской среде, оно служило главным образом для самоуничижения, обезличивания себя: «—В город едешь, молодец? — спросил Салакин, подходя к угольщику. Тот посмотрел на него и глухим голосом ответил: — Мы в город порожнем не ездим» (М. Горький. Злодей); «—Ты крестьянин, иль мастеровой какой? — Мы пензенски» (Федин. Города и годы); «—Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то — нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать» (Гончаров. Обломов).

Таким образом, употребление *мы* вместо *я* в русском языке было явлением довольно распространенным. Такая замена не только допускалась, но и носила разносторонний характер. Не все из того, что имело место в прошлом, сохранилось в современном употреблении. Использование «авторского *мы*», например, заметно сузилось, оно стало принадлежностью научной и публицистической речи. Употребление *мы* вместо *я* в современной разговорной речи носит в основном шутливо-иронический характер.

С. Л. Баженова

Пословица и поговорка



Хути Табидзе из Ткварчели спрашивает: «Какая строго принципиальная разница между поговоркой и пословицей?».

Слова *пословица* и *поговорка* по значению и по корню, конечно, связаны со словами *слово* и *говорить*. Оба они известны русскому языку с древнейших времен, причем *пословица* имело несколько значений: 'словесный договор, соглашение, согласие, мир' (см.: Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам И. И. Срезневского) и наше современное — 'поговорка, пословица': «Есть же пословица в Руси и до сего дни: погибоша, рече, яко Обори, без останка» (Повесть временных лет). Сло-

во *поговорка* не имело современного значения и употреблялось только в значении 'переговоры': «Нашему послу добровол(ь)но приѣхати на поговорку и олять отъѣхати добровол(ь)но» (Псковская I летопись).

В XVII веке в значении 'присловье, народное речение' употреблялось слово *пословица*. Первый из известных на Руси сборников народных речений, составленный в XVII веке, называется «Повѣсти или пословицы всенародѣйшія по алфавиту». В нем находим (с современной точки зрения) пословицы: «Дорого да мило, а дешево да гнило»; «Взявся за гуж, не говори, что не

дуюжъ»: «Волки бы сыты, а овцы бы цѣлы»; «Гдѣ тонко, тамъ и рвется»; «Тише пойдешь, далѣ будешь» и др.; поговорки: «Быть бычку на веревочке»; «Вольному воля, ходячему путь»; «Дорого яичко к велику дню»; «Надулся, что мышь на крупу»; «С людьми и смерть красна»; «У страха глаза велики»; «Утро вечера мудренее» и др.; загадки: «Алой малой, зеленой кафтанъ»; приметы: «Денги во снѣ печаль, а на яве страх татя».

Все эти различные виды народных речений в заголовке сборника названы пословицами. «Пословица к слову молвится», — говорит народная мудрость. К слову же молвится и поговорка, и удачное устойчивое сравнение, и различные народные прибаутки.

В XVIII веке разница между пословицей и поговоркой не была еще точно определена. Словарь Академии Российской (конец XVIII в.) пословицу определяет как «краткое и по большей части иносказательное изречение, содержащее в себе нравоучение» (примеров в Словаре не приводится), а поговорку как «известный образ вещания, заключающего в себе острый и нравоучительный смысл, например: „Дай бог память, Как бы сказать, не солгать“».

Как не трудно заметить, отличить один тип народных речений от другого по названным признакам трудно. Но разница между ними несомненно есть.

В XIX веке пословицы и поговорки стали не только предметом собиранія, но и предметом специального изучения: И. М. Снегирев. Русские в своих пословицах. СПб., 1831—1834; его же. Русские народные пословицы и притчи. М., 1848; Ф. И. Буслаев. Русские пословицы и поговорки. М., 1854; и наконец, самое большое собрание русских пословиц — В. И. Даль. Пословицы русского народа. В собрание В. И. Даля входят, конечно, не только пословицы, но и поговорки.

В наше время слово *пословица* имеет только одно, терминологическое значение, им обозначают определенный жанр народно-поэтического творчества.

Применительно к известному виду образных выражений поговорка более расплывчата в своем значении, чем пословица. Кроме того, поговорка — слово многозначное, оно имеет наряду с терминологическим и другие значения: «[Лупояров] стал называть меня уже: милый человек, батенька, — это, как видно, были его всегдашние поговорки» (Ливанов. Раскольники и острожники; здесь *поговорка* значит 'слово, часто повторяемое в речи'); «Потребовали меня опять в Тулу для поговорки с наместником» (Болотов. Записки; здесь *поговорка* — 'беседа, разговор'). А многозначность слова, как известно, всегда вредит его терминологичности.

Поговорки рассматриваются исследователями обычно вместе с пословицами и даже в толковании их сравнивают одну с другой, что говорит о сложности выделения признаков поговорки. В последнем издании «Краткой литературной энциклопедии» (т. 5. М., 1968) поговорка толкуется так: «образное выражение, метко определяющее какое-либо явление жизни. В отличие от пословицы, поговорка грамматически или логически не закончена и лишена обобщающего поучительного смысла. Поговорка — оборот речи, элемент суждения (в отличие от пословицы как полного суждения), фразеологизм, функционирующий в речи как часть предложения». Из этого определения видно, что признаки поговорки даются в основном только в сравнении с пословицей.

Действительно, признаки поговорки не могут быть названы более конкретно, чем это сделано, так как поговоркой исследователи называют разные устойчивые выражения с различными синтаксическими и другими признаками. Некоторые считают, что поговорка — это то же самое, что фразеологизм, подходят к определению поговорки с позиции лингвиста, а не литературоведа, фольклориста, чьей областью исследования главным образом и были до последнего времени пословицы и поговорки. Поговорками считаются такие выражения: «Семь пятниц на неделе»; «Словно Мамай воевал»; «Куда Макар телят не гонял»; «Положить зубы на полку».

Пословицы имеют более четкие признаки, которые подробно описаны литературоведами. В народе тоже говорят: «Не всякое слово пословица»; «Глупая речь не пословица»; «Хороша пословица в лад, да в масть». Исследователи назвали пословицу как определенный жанр устного народнопоэтического творчества. Это «краткое образное, грамматическое и логически законченное изречение с поучительной тенденцией, в ритмически организованной форме» (Краткая литературная энциклопедия). Например: «Волков бояться — в лес не ходить»; «Пришла беда, отвори ворота»; «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться»; «Любишь кататься, люби и саночки возить»; «Коготок увяз — всей птичке пропасть»; «Лес рубят — щепки летят»; «Поспешись — людей насмешишь»; «С кем поведешься, того и наберешься»; «Не зная броду, не суйся в воду».

Приведенные примеры имеют признаки, характерные для пословицы: это синтаксически двучленные, ритмически организованные, логически законченные изречения, образно выражающие обобщенную мысль, оценку явления или ситуации, содержащие название. Для всех них характерна не только мерность и звучность, но часто и рифма: «Не зная броду, не суйся в воду». В поговорке мы не найдем ни одного из этих признаков. «Семь пятниц на неделе» — это выражение в нашей речи всегда составляет часть предложения, например: «У него семь пятниц на неделе», оно логически и грамматически не закончено, не содержит назидания, не двучленно и т. д. Эту разницу между пословицей и поговоркой — неполноту одной и законченность другой — подметил и народ, недаром говорится: поговорка — цветочек, а пословица — ягодка.

Несмотря на четкие признаки пословицы и менее четкие — поговорки, часто бывает трудно определить, пословица или поговорка перед нами, потому что в языке существует огромное количество пограничных пословично-поговорочных выражений (как их называют ученые), у которых отсутствуют те или иные признаки пословицы: назидательность или двучленность, или ритмичность. Такая неполнота признаков мешает отнести их с полным основанием к описанному жанру народнопоэтического творчества — к пословицам: «Коса — девичья краса»; «Деньги — дело наживное».

В. П. Фелицына



Читательница В. П. Кочеткова просит объяснить историческое значение корней в словах *лик*, *лицо*, *рыло*, *рожа*, обозначающих, по определению «Словаря современного русского литературного языка», «переднюю часть головы человека» и в этом значении являющихся синонимами, и, заодно, значение корня в слове *неряха*.

Слова *лик* и *лицо* — исторически однокоренные. Индо-европейский корень *lik* (*lig*) имеется во всех славянских языках, диалектах немецкого, греческом, исландском и других.

Знак *к*, по законам праславянского языка, легко переходил в шипящий *ч* или в свистящий *ц* в определенных позициях (крик — кричать, старик — старец), поэтому уже старославянский язык знал два слова *ликъ* и *лице*, стилистическое разграничение которых произошло в древнерусском языке. *Лицо* — стилистически нейтральное слово, *лик* — употреблялось главным образом в поэтически возвышенных текстах и при названии изображений святых на иконах. (Мы не говорим о других синонимических значениях *лик* и *лицо*, например: *лик* земли — *лицо* земли, потому что в этом значении *лик* и *лицо* не будут синонимами слов *рыло*, *рожа*, *ржа*.) Такое разграничение в употреблении слов сохранилось до сих пор, только *лик* стало восприниматься как устарелая форма.

Иного происхождения слово *рыло*. Его литературное значение — «крайняя часть носа некоторых животных, приспособленная для рытья». Слово образовано от глагола с помощью суффикса *-л-о*. Этот тип словообразования существительных, обозначающих орудия действия, часто встречается (*сушило* — от глагола *сушить*, *молотило* — *молотить*, *покрывало* — *покрывать*). Связь этих существительных с образующей глагольной основой очевидна. Из слов с менее осознанной соотнесенностью к глаголу можно назвать *шило* — от глагола *шить*, *мыло* — *мыть* и *рыло* — *рыть*. «Школьный словообразовательный словарь» З. А. Потиха (М., 1964) уже не выделяет суффикса *л* в этих словах, лишь замечая, что исторически *л* — суффикс.

Слово *рожа* — исторически однокоренное с *род*, *родить*, *рожать*, *уроженец* и т. д. В Ипатьевской летописи за 1196 год о князе Всеволоде Святославиче говорится, что он был «всихъ оудаломъ рожаемъ и воспитаемъ и возрастомъ». *Рожай* И. И. Срезневский в «Материалах для Словаря древнерусского языка» объясняет как «природа, природные свойства». В древнерусском языке было и слово *рожаистый* «видный, красивый», то есть имеющий свойства, полученные при рождении, от рода.

Корень просторечного слова *ржа* восходит к *ряд* (рядить, наряжать). Это слово обозначало красивого, хорошо одетого, наряд-

ного человека. В Словаре Даля, например, отмечены *рядиха* и *ряд-за*. После того, как звук *д* перестал произноситься, образовалась та форма слова, которую мы сейчас порой слышим — *ряха*. Слово *ряха* и прилагательное *рядая* в значении 'нарядная, красивая' до сих пор сохраняются в некоторых диалектах русского языка.

Если *ряха* — 'нарядный человек', то *неряха* — 'плохо, дурно одетый человек'. От этого значения слова 'отпочковалось' другое значение, которое и стало сейчас единственным в русском литературном языке — 'неопрятный, неаккуратный человек'. Интересно отметить, что производящее существительное *ряха* не вошло в литературный язык и поэтому производное *неряха* в сознании современного человека никак не соотносится со значением корня *ряд* в словах *нарядный*, *нарядить* и т. д.

Несмотря на то, что слова *ряха*, *рожа* имели когда-то положительно окрашенные эмоциональные значения, отмечали красоту лица человека, в современном языке они потеряли свою положительную окраску. Слово *рыло* в значении 'часть носа некоторых животных' — литературное слово, но в значении 'лицо человека' оно, так же как и слова *рожа*, *ряха*, просторечно-бранное слово.

Н. В. Соловьев

Читательницу А. И. Петрашню (Ленинград) интересует слово *прядать*: каково значение этого слова, употребляется ли оно в современной литературе, образуются ли от него производные.

Прядать — слово старинное, употреблявшееся еще в древнерусскую эпоху. В древнерусском

Прядать

языке *прядати* обозначало 'скакать'.

В том же значении 'прыгать, скакать' употреблялось *прядать* в XVIII веке: «Там серны, прядая с холма на холм стрелами, Стоят на крутизнах, висят над головами» (Державин. Утро). Это значение основное и для XIX века: «Он [конь] бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со спины» (Достоевский. Маленький герой).

Глагол *прядать* имеет соотносительную видовую пару — форму совершенного вида *прянуть*: «Шпоры втиснул он в коня; Прянул конь от острых шпор, И стрелой помчался в бор» (Жуковский. Спящая царевна); «Яков на сосну высокую прынул, Вожжи к вершине ее укрепил» (Некрасов. Кому на Руси жить хорошо).

Постепенно расширялся круг сочетаемости этого глагола. Он употребляется не только с существительными одушевленными, но и с неодушевленными именами: «Часы бежали. Небо потемнело. С росой на землю пала тишина. Из туч косматых прынула луна» (Лермонтов. Аул Бастунджи); «Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сившей за темной гранью круто рассеченных горных гребней» (Тургенев. Ася).

Появляется новое значение — 'двигать, шевелить': «Огонь не допускает близко зверя, и вот рысь сердится, мурлычет, прыскает, с досадой сверкая круглыми, зелеными глазами, и придает кисточками на концах высоких, прямых ушей» (Мельников-Печерский. В лесах); «Лошадь быстро шла вперед своею машистою рысью и только прыдала ушами» (Мамин-Сибиряк. Три конца).

В современной литературе встречается *прыдать* и в том и другом смысле. Сравнительно с литературой XIX века в литературе нашего времени этот глагол редко употребляется в значении 'прыгать, скакать': «Ухватив живой воды, поднимает пугливый козел ветвистую голову, прислушивается, наставя уши, и от шороха, согнув красную спину, прыдает вверх по уступам» (А. Н. Толстой. Неверный шаг). Сейчас употребительнее форма совершенного вида *прыгнуть*, в которой реализуется значение 'сделать стремительное, быстрое движение': «Десантный отряд матросов прынул наперерез бросавшим позицию белым» (Федин. Необыкновенное лето); «Коня испугались вдруг появившегося из темноты человека, прынули назад, едва не перевернув тележку» (Сартаков. Хребты Саянские).

Значение 'двигать, шевелить' встречается в современной литературе только в устойчивом сочетании *прыдать ушами*: «Знакомая карета стояла во дворе, буланый конь, как и в прошлый раз, нетерпеливо прыдал ушами» (Саянов. Лена).

Из слов, производных от *прыдать*, *прыгнуть*, можно назвать отглагольное существительное *прыданье* и многие приставочные образования.

Прыданье употреблялось в XIX веке: «Но вот вдали, за версту или больше, слышался вой, ему откликнулся другой, третий вой — все ближе и ближе. Смолк, и послышалось прыданье зверей на пасту, ворчанье, стук зубов» (Мельников-Печерский. В лесах). Слово это в современном литературном языке встречается очень редко. Мало употребительны в настоящее время приставочные глаголы *спрыгнуть*, *вспрыгивать*, *перепрыгивать*: «Лошади — и те пошли шаговитей, подбористей, невесомо неся и переставляя ноги, деловито перепрыгивая ушами» (Шолохов. Тихий Дон).

Глаголы *воспрыгнуть*, *отпрыгнуть* в современном литературном языке более употребительны, чем *прыгнуть*, от которого они образованы.

Ф. Д. Перевозчикова

Жёлчь или желчь?

«Как правильно говорить. жёлчь или желчь?» — спрашивает москвич Б. И. Викторов.

Сначала может показаться, что на этот вопрос очень легко ответить. Достаточно взять словари русского языка, изданные

за последние 30 лет, и увидеть, что все они рекомендуют только одно написание или произношение — жёлчь. Но даже самое несовершенное статистическое исследование дает, как минимум, 80 процентов произношения *желчь* с *е*.

Нам невольно придется коснуться очень интересного закона русского языка — закона перехода *е* в *о* (*ё*). Мы говорим *лён*, *моё*, *жёны*, но *женá*, *мёд*, но *медвѣдь*. В этих словах когда-то пи-

салось и произносилось *е*, но перед твердой согласной в ударном положении оно перешло в *о* (*ѣ*). Слова с первоначальным *е* (или *ѣ*) не следует смешивать со словами, где когда-то писалось *ѣ*, а звук *ѣ* произносился иначе, чем *е*. Со временем *ѣ* стало звучать как *е*, но к этому времени действие закона перехода *е* в *о* (*ѣ*) уже закончилось, и *е*, возникшее из *ѣ*, сохраняется почти во всех словах в любой позиции: лес (лѣсъ), дело (дѣло), мел (мѣлъ).

Слово *желчь* никогда не имело *ѣ*, поэтому, согласно закону перехода *е* в *о* (*ѣ*), здесь должно произноситься *о* (*ѣ*). Почему же существует два варианта произношения?

Варианты произношения имеет не только слово *желчь*, но и некоторые другие: племя — плѣмь, шерстка — шѣрстка, всплеск — всплѣск, хребет — хребѣт и т. д. Таких примеров можно привести много. Колебания в произношении объясняются тем, что русское литературное произношение с *о* (*ѣ*) испытывало влияние, с одной стороны, тех диалектов, где не действовал закон перехода *е* в *о* (*ѣ*), с другой — произношения на церковнославянский лад книжных слов — без перехода *е* в *о* (*ѣ*). Слова, произносившиеся с *е* вместо закономерного русского *о* (*ѣ*), оставались в языке либо в виде непризнанного варианта литературного произношения, либо полностью вытесняли законные, становясь единственно правильными: шлем, хребет, всплеск и т. д.

Слово *желчь* употреблялось в различных сферах общения. В общедно-разговорном языке оно утвердилось с *о* (*ѣ*), в языке книжном — с *е*. Вот почему произношение этого слова не устоялось до сегодняшнего дня.

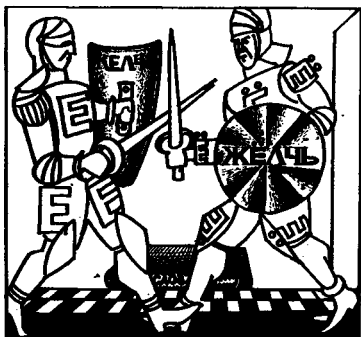
Мы попытались дать ответ на вопрос, почему слово *желчь* имеет варианты произношения. А как же правильно говорить?

Несмотря на то, что словари последних лет рекомендуют говорить только *жѣльч*, следует, вероятно, прийти к выводу, что оба варианта произношения правильны.

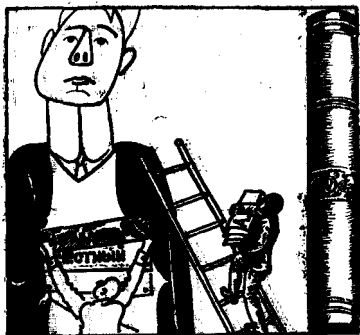
За произношением *жѣльч* стоит многовековая традиция, базирующаяся на законе русского языка (переход *е* в *ѣ*). Большинство людей пожилого возраста произносят именно так. Произношение с *е* в настоящее время очень широко распространено. Этому способствует, во-первых, современная графика, которая не требует четкого разграничения на письме *е* и *ѣ*. Читающие произносят слова так, как видят их написанными: *желчь*. Во-вторых, существует большое количество отступлений от закона перехода *е* в *о* (*ѣ*).

Конечно, язык «не любит» равноправных вариантов и всегда старается либо избежать одного из них, либо за каждым вариантом закрепить свое значение, например: небо — «воздушное пространство над поверхностью земли», нѣбо — «верхняя часть полости рта». Но пока между равноправными вариантами *жѣльч* и *желчь* идет борьба в живом произношении.

Н. В. Соловьев



Честный и правдивый



Ученик X класса Петя Бабичев (Курская область) спрашивает: «Можно ли сказать о Базарове, что он честен и правдив? И вообще, есть ли смысловое различие между словами *честность* и *правдивость*? Не является ли употребление рядом этих слов тавтологией, то есть смысловой избыточностью?».

Слова *честный*, *честность* и *правдивый*, *правдивость* близки, но не тождественны по значению. *Честный* (его синонимом служит слово *бесспорный*) имеет более широкое значение. Оно означает незапятнанный ничем предсудительным, ничем не опозоренный; выражающий прямогу характера; не способный,

украсть, расхитить; открыто выражающий свои взгляды. Это прилагательное может быть употреблено не только по отношению к человеку, но к его имени, службе: «[Ананий Яковлев:] По крайности, я знал бы, что имя мое честное не опозорено» (Писемский. Горькая судьбина); «Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи?» (Шолохов. Тихий Дон).

Правдивый чаще употребляется в значении «говорящий правду; выражающий правдивость»: «Петя был правдивый мальчик. Даже самая маленькая ложь приводила его в смущение» (Катаев. За власть Советов); «Василий слушал добрые слова, смотрел в ясные, правдивые глаза и постепенно успокаивался» (Николаева. Жатва).

Таким образом, если прилагательное *честный* обычно употребляется по отношению к поступкам человека, то *правдивый* — к его высказываниям. Поэтому соединение этих слов, приведенное в книге «История русской литературы XIX века» (под редакцией профессора С. М. Петрова) допустимо и не является речевой ошибкой.

Второй вопрос Пети Бабичева касается стилистической оправданности соединения синонимичных слов *волевой* и *энергичный*, *решительный* и *мужественный* и т. п.

Прием смыслового повтора (иначе называется амплификацией синонимов) нередко встречается в художественной литературе, причем у лучших мастеров слова, например у А. П. Чехова: «Воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная» (Скверная история); «Он вспомнил... как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу и как гордо, надменно ее лицо» (Дуэль); «— Но ведь это, душа моя, жестоко, бесчеловечно» (Ниночка).

Психологическая основа смыслового повтора — это задержка и сосредоточение внимания на важном моменте путем повторения одних и тех же или родственных сигналов. Семантико-стилистические функции этого приема заключаются в расширении характе-

ристики явления (смысловое обогащение); смысловом уточнении определения; в эмоционально-смысловом усилении обозначаемого признака.

Таким образом, смысловой повтор — распространенный стилистический прием. Но пользоваться им надо умело, чтобы избежать ненужной тавтологии. Сочетания синонимичных слов обычно обозначают наиболее важный предмет мысли и используются в эмоциональной ситуации высказывания.

К. С. Горбачевич

Сорок сороков

Прошу объяснить значение выражения *сорок сороков*. Если это числительное, то для какого количества? — спрашивает Н. Здорова из Владивостока.

Многие фразеологические сочетания современного русского литературного языка сохраняют

в своем составе архаичные числительные *тьма*, *един*, *тридцать*, *сорок* (*ов*) и др.: *тьма-тьмушая*; не хлебом единым; за тридцать земель, сорок сороков и др.

Тьма в древнерусском счете значило 'десять тысяч'. Для обозначения ста тысяч употреблялось словосочетание *тьма тем*, которое в дальнейшем приобрело значение 'неопределенно большое количество'. В современном русском литературном языке на базе этого словосочетания был образован фразеологизм *тьма-тьмушая* с тем же значением: «—Ну, потом тьму-тьмушую солдат нагнали» (Гладков. Повесть о детстве); «Вот он перрон! Народу на нем — тьма-тьмушая» (Василенко. Волшебная шкатулка).

Старое слово *сорок* первоначально обозначало 'набор связку мехов из четырех десятков однородных шкурок'. В дальнейшем *сорок* приобрело отвлеченное числовое значение, соответствующее четырём десяткам. «У народа, — писал С. Максимов, — свой счет: обходя десяток, он предпочитает вести счет дюжинами, обходя две и три дюжины, начинают считать дробные вещи и более мелкие предметы сороками» (Крылатые слова. М., 1955, стр. 59).

Фразеологизм *сорок сороков* сформировался на почве терминологического устойчивого словосочетания *сорок сороков церквей*. Так говорили о большом количестве церквей в старой Москве. Одним *сороком* называли группу церквей, состоящую примерно из четырех десятков.

Это словосочетание можно и сейчас встретить в жанре советского исторического романа: «Отозвались колокольни, заматались колокола, и все сорок сороков московских забили набат» (А. Толстой. Петр Первый); «Вслед за кремлевскими печально загудели колокола всех московских сорока сороков» (Костылев. Иван Грозный).

Выражение *сорок сороков*, как и *тьма-тьмушая*, употребляется в значении 'неопределенно большое количество': «Как, например, новосибирцы думают защитить ротор, чтобы туда не попадало масло? Впрочем, таких „как“ и „почему“ я могу задать сорок сороков» («Известия», 8 января 1963).

В. Н. Сергеев

КАКИЕ ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ БЫЛИ В 1970 ГОДУ

Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени М. В. Ломоносова
Филологический факультет

1. Документальное и художественное в очерке М. Горького «В. И. Ленин».
2. Человек, народ, история в романе М. Горького «Мать».
3. Поэт и читатель в творчестве В. В. Маяковского.
4. «Поднятая целина» М. А. Шолохова как эпопея.
5. Жанр послания в лирике А. С. Пушкина.
6. Образ автора в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
7. Петр I и Петровская эпоха в творчестве А. С. Пушкина.
8. В. Г. Белинский об историческом и общественном значении романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
9. Повесть «Фаталист» и ее место в композиции романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
10. Художественное своеобразие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина.
11. Москва и Петербург в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
12. Критерий нравственной оценки человека в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

Московский ордена Ленина энергетический институт

1. В. В. Маяковский о месте поэта в рабочем строю.
2. Давыдов и его роль в создании колхоза (по роману М. А. Шолохова «Поднятая целина»).
3. «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества» (Ю. Фучик).
4. Черты моего современника в жизни, в литературе, в кино.
5. А. С. Пушкин — наша гордость и слава.
6. «Татьяна — этой редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расщелине дикой скалы» (В. Г. Белинский).
7. «Решительно скажу: едва Другая сыщется столица, как Москва» (А. С. Грибоедов).
8. Чиновничья Россия по произведениям Н. В. Гоголя «Ревизор» и «Мертвые души».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. И. БОРКОВСКИЙ (главный редактор), В. А. БЕЛОШАПКОВА,
Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, В. В. ВИНОГРАДОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ,
В. Я. ДЕРЯГИН (ответственный секретарь), И. Г. ДОБРОВОДОВ,
Л. М. ЛЕОНОВ, А. И. ОВЧАРЕНКО, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Л. И. СКВОРЦОВ, Ю. С. СОРОКИН,
Ф. П. ФИЛИН, Н. Ю. ШВЕДОВА

Зав. редакцией И. М. Беспалова Художник Ю. И. Космынин
Художественно-технический редактор Т. А. Михайлова Корректоры Н. Н. Глаголева, Г. Н. Шамина

Сдано в набор 12/XII-1970 г. Т-04008 Подписано к печати 11/II-1971 г.
Тираж 86 000. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Усл. печ. л. 8,4 Бум. л. 2,5
Уч.-изд. листов 9,4 Зак. 1558

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10